Куприн

Александр Иванович

1870 - 1938

Классики

за 30 минут

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.

В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.

Для широкого круга читателей.

- Куприн за 30 минут
  - Библиографический очерк
  - Гранатовый браслет
  - Ю-Ю
  - Слон
  - Белый пудель
  - Анафема
  - Болото
  - Гамбринус
  - Изумруд
  - Молох
  - Allez!
  - Тапёр
  - Молох
    -
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - XI
  - Белый пудель
    - I
    - II

- III
- IV
- V
- VI

- Гранатовый браслет
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII

Куприн за 30 минут

Библиографический очерк

Один из величайших русских писателей – Александр Иванович Куприн появился на свет 7 сентября (26 августа по ст. стилю) 1870 года в провинциальном городе Наровчате Пензенской губернии. Отец мальчика, служивший мелким чиновником, очень рано умер, а потому, воспоминаний о нем практически не осталось. Мать по своему происхождению относилась к старинному татарскому княжескому роду Куланчаковых, была волевой и своенравной женщиной. В возрасте четырех лет сын вместе с матерью переезжает в Москву, где проходят детские и юношеские годы Куприна. Крайне тяжелое финансовое положение семьи, стало причиной того, что мальчика отдали в Московский Разумовский сиротский пансион, славившийся своим суровым воспитанием.

Несмотря на жизнь в пансионе, молодой человек мог общаться с матерью – Любовью Алексеевной Куприной, которую он очень уважал и любил. Она – сильная, самодостаточная, амбициозная гордячка, с отличным вкусом и невероятной наблюдательностью, временами бывавшая деспотичной, – стала для сына примером для подражания, мудрым советником и наставником.

Еще в сиротском воспитательном заведении, мальчику пришлось привыкнуть к форменной одежде, которая станет для него привычной на несколько ближайших лет. С 1880 года он является учащимся Второй Московской военной гимназии, вскоре преобразованной в кадетский корпус. Куприна очень тяготила излишне строгая дисциплина и постоянная муштра, жизнь с десятилетнего возраста в закрытых учебных заведениях, что было отображено им в повести «На переломе» («Кадеты») (1900 г.), а также, в романе «Юнкера» (1928-1932 гг.). Эти произведения наглядно демонстрируют то, с чем пришлось столкнуться юноше: жестким бытом, безжалостными нравами и идиотизмом наставников.

Осень 1888 года ознаменовалась для Александра Ивановича поступлением в очередное военное заведение – Третье Александровское юнкерское училище, выпускавшее офицеров пехоты. К этому времени, молодой человек из подростка трансформировался в бравого, сильного юношу, великолепного танцора и отличного гимназиста, свято чтившего честь своего мундира. Именно в это время Куприн обратил пристальное внимание на литературную деятельность, заинтересовавшую его еще в пору кадетского корпуса. Благодаря мудрым наставлениям

литератора Цуханова и знакомству с писателем Л.И. Пальминым, свет увидело первое произведение поэта «Последний дебют», опубликованное в московском журнале «Русский сатирический листок».

После успешного окончания Александровского военного училища и присвоения звания подпоручика, Куприн был зачислен на службу в сорок шестой Днепровский пехотный полк, располагавшийся в отдаленном провинциальном городке Проскурове Подольской губернии. Повседневная монотонная действительность, неоправданная жестокость начальства и однообразие, вскоре заставили молодого человека разочароваться в офицерской службе, что в итоге, привело к отставке. За четыре года офицерской службы, был накоплен богатейший опыт о военной жизни, нашедший свое отражение в повести «Впотьмах», рассказах «Лунной ночью», «Из отдаленного прошлого» («Дознание»), «Ночлег» (1897 г.), «Ночная смена» (1899 г.), «Поход» (1901 г.), опубликованные в петербургском журнале «Русское богатство».

Поступлению в Академию генерального штаба, на котором настаивал отец девушки, в которую Куприн был серьезно влюблен, помешал инцидент с околоточным надзирателем (полицейским), которого молодой и горячий писатель просто скинул в Днепр за грубую назойливость. Был отозван из Петербурга во время сдачи экзаменов и возвращен обратно на место службы, которое к тому моменту ненавидел, что во многом повлияло на принятие решения об отставке.

Так, писатель в двадцать четыре года оказался свободным человеком в Киеве без какой-либо «мирной» профессии. Это обстоятельство побудило молодого человека к поиску себя, своего места в жизни и в течение последующих нескольких лет он, разъезжая по России, перепробовал ремесло: репортера, поэта, фельетониста, грузчика, землемера, певчего, управляющего при постройке дома, разводчика табака, служил в технической конторе, выступал на сцене, был стоматологом, рыбачил вместе с черноморскими моряками и пр. Разумеется, весь багаж разнообразных познаний и опыта, был реализован в многочисленных произведениях писателя. Примечательно, что его особенно сильно интересовала человеческая сущность, он жадно изучал мир и людей в нем. Отчасти, поэтому перепробовал на себе так много совершенно разных профессий.

В бытность репортером и поэтом, Куприн создает сборник очерков «Киевские типы» (1896 г.) и сборник рассказов «Миниатюры» (1897 г.), опубликованные в Киеве. В тот период увидело свет множество его работ, напечатанных в: «Киевском

слове», «Киевлянине», «Волыни». Как правило, это были разнообразные заметки, очерки, рассказы, давшие писателю необходимый литературный опыт, а потому, даже спустя многие годы, он с особой нежностью отзывался о репортерской работе.

С 1896 года Куприн работал в должности заведующего учетом кузницы и столярной мастерской на огромном сталелитейном и рельсопрокатном заводе. Увиденное там, произвело на него ошеломляющее впечатление, восхитило и напугало, одновременно. Именно эти переживания легли в основу повести «Молох» (1896 г.). В произведении автор проводит параллель между заводом – бездушной железной машиной, пожирающей людей, и богом войны и огня – Молохом, которому моавитянские племена приносили в жертву человека.

Именно в этот период, на стыке веков, писателем создаются почти все его знаменитые произведения: очерк «Юзовский завод» (1890 г.), рассказы: «Куст сирени», «Лесная глушь», «Оборотень», «На разъезде», «Забытый поцелуй», «Просительница», «Миллионер», «Игрушка», «Святая любовь», «Жизнь», «Странный случай», «Наталья Давыдовна», «Полубог», «Кровать», «Сказка», «Чужой хлеб», «Друзья», «Марианна», «Собачье счастье», «На реке», «Сильнее смерти», «Каприз», «Первенец», «Нарцисс», «Брегет», «Первый встречный», «Путаница», «Барбос и Жулька», «Детский сад», «Allez!», «Одиночество», «Счастливая карта», «В недрах земли». Наряду с повестью «Молох» наиболее выдающимися считаются произведения: «Лесная глушь» (1898 г.), «Прапорщик армейский» (1897 г.), «На глухарей» (1899 г.), «Олеся» (1898 г.), «В цирке» (1901 г.).

Ноябрь 1901 года ознаменовался для Куприна переездом в Петербург, где он смог заявить о себе как о профессиональном писателе. Там же происходит знакомство с И.А. Буниным, А.П. Чеховым, М. Горьким. Во время визитов в Москву посещает литературное общество «Среда», сводит знакомство со множеством литераторов. А в 1903 году в издательстве М. Горького «Знание» публикуется первый том рассказов Александра Ивановича, восторженно встреченный критикой. В Петербурге его друзьями становятся все руководители журнала «Мир Божий»: редактор – Ф.Д. Батюшков, критик – А.И. Богданович, издательница – А.А. Давыдова. Именно на дочери последней – Марии Карповне в 1902 году женился писатель и вскоре на свет появилась их дочь – Лидия. Одновременно с этими событиями, в различных журналах Петербурга выходят его рассказы: «Болото» (1902 г.), «Конокрады» (1903 г.), «Белый пудель» (1904 г.), повесть «Поединок» (1905 г.). Последняя стала триумфом поэта.

В связи с публикацией обвинительного очерка «События в

Севастополе», написанного по следам очаковского восстания, свидетелем которого был автор, его выгнали из Севастопольского округа, а вице-адмирал Чухнин и вовсе подверг его судебному преследованию. Допрос у следователя завершился разрешением вернуться в Петербург.

Вдохновленный успехом повести «Поединок», Куприн собирался написать его продолжение с рабочим названием «Нищие», но эта работа так и не была завершена. С другой стороны, в это время увидели свет рассказы: «Штабс-капитан Рыбников» (1906 г.), «Река жизни», «Изумруд» (1907 г.), «Гамбринус», цикл очерков «Листригоны» (1907-1911 гг.), «Суламифь» (1908 г.), «Гранатовый браслет» (1911 г.). В 1909 году награжден премией Пушкинской Академии, которую разделил с И.А. Буниным, а 1912 год – публикация в издательстве Л.Ф. Маркса Полного собрания сочинений писателя в восьми томах.

Разгром революции 1905 года стал причиной значительного снижения заинтересованности политической жизнью страны, охладела дружба с М. Горьким. Несмотря на рост популярности Куприна, ему постоянно не хватало финансов, что вынудило в зените славы, заниматься журналистикой. В это время создается повесть «Яма» (1915 г.), повествующая о жизни публичного дома. Но перегруженная безобразными подробностями, она не снискала одобрения критиков.

В личной жизни писателя также произошли перемены: женитьба вторым браком на племяннице Д.Н. Мамина-Сибиряка – Елизавете МорицовнеГейнрих и рождение дочери Ксении.

Первая мировая война заставляет вновь вернуться к армейскому прошлому и работать инструктором, а в гатчинском доме организовать госпиталь. К этому времени относятся рассказы: «Папаша», «Гога Веселов». После демобилизации пишет множество патриотических статей. События Февральской революции вызвали в его душе самые позитивные эмоции и он спешно прибыл из Гельсингфорса в Петроград, чтобы вместе с критиком П. Пильским участвовать в редактировании эсеровской газеты «Свободная Россия». К этому периоду относятся рассказы: «Храбрые беглецы», «Сашка и Яшка» (1917 г.), «Гусеница», «Звезда Соломона», но ни в одном из них нет прямого указания на политические события.

Откровенно отрицательно воспринял Куприн Октябрьскую революцию 1917 года, ему была чужда политика военного коммунизма, «Красный террор», критиковал идею Ленина изменить Россию. Попытка поэта сотрудничать с В.И. Лениным провалилась, что в итоге, заставило первого эмигрировать. ИзГатчина Александр Иванович перебрался сначала в Эстонию,

потом в Финляндию и, в итоге, в Париж. Именно там он превращается в заклятого врага Советской власти, публикуя изощренные памфлеты и критику на нее. Однако, поэт тоскует по Родине, его переживания легли в основу повести «Купол св. Исаакия Далматского» (1928 г.).

В 1927 году публикуется его публицистический сборник «Новые повести и рассказы», книга «Елань», рассказы: «Колесо времени» (1930 г.), «Жанета» (1932-1933 гг.). А с 1928 года в печать постепенно выходят главы из романа «Юнкера», который полностью увидел свет лишь в 1933 году.

Лишь в конце мая 1937 года Куприн вернулся в Россию. Москва встретила его очень горячо и радостно, но сам писатель был уже слишком стар и болен. А в декабре 1927 года он переезжает в Ленинград, где находит комфортные условия, живет в окружении родных и близких. В следующем году семья Куприных снова переезжает в Гатчину, где живет в доме Александры Александровны Белогруд. Поэт был очень счастлив в это время, много и с удовольствием гулял по родной земле.

Но серьезнейшее онкологическое заболевание не позволило ему далее наслаждаться жизнью и после операции, принесшей временное облегчение, все поняли, что спасти его уже невозможно.

25 августа 1938 года Александр Иванович Куприн скончался. Его супруга погибла через пять лет во время блокады Ленинграда. Они похоронены рядышком на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Гранатовый браслет

Середина августа на северном побережье Черного моря совершенно не радовала погодой: то густой туман нависал низко над землей, заставляя реветь сирену на маяке, то мелкий дождик накрапывал с утра до ночи, делая непроходимыми глиняные дорожки, в которых застревали экипажи, то внезапно налетал ураган, низко пригибая верхушки деревьев и гремя железными крышами дач, будто по ним кто-то бегал в сапогах. Несколько маленьких рыбачьих лодок заблудилось в море в такую ужасную погоду, а две и вовсе не вернулись. Лишь через неделю море вернуло на землю тела моряков, разбросав их в разных местах.

Впечатлительные и мнительные жители пригородного курорта торопились вернуться в город и на дорогах постоянно скапливались обозы из доверху нагруженных скарбом повозок, которые тянули изможденные лошади. Дачные домики выглядели покинутыми, сиротливо поблескивая разбитыми ставнями, пугая разрушенными клумбами и кучами разного мусора.

В начале сентября неожиданно установилась такая прекрасная, тихая погода со светлыми ночами, солнечными, теплыми днями, какой не было и в начале лета. Только деревья, ныне успокоившиеся, осторожно роняли желтые листья в траву, напоминая, что грядет осень.

Супруга предводителя дворянства – княгиня Шеина Вера Николаевна не смогла со всеми соседями уехать с дачи, поскольку в их городском доме еще шел ремонт, и теперь наслаждалась погожими деньками и соленым ветерком с моря. Еще одним поводом для прекрасного настроения был день ее именин, от которого она ожидала чего-то прекрасного и чудесного. Рано поутру, отправляясь в город по делам, муж оставил ей подарок – чудесные серьги с грушевидным жемчугом.

Оставшись в гордом одиночестве, она размышляла о том, как хорошо, что именины пришлись как раз на дачный сезон – не нужно давать в городе большой обед, устраивать бал, а значит, можно сэкономить деньги, которых и так все время не хватало. Видное общественное положение мужа, обязывало их вести определенный достаточно респектабельный образ жизни: содержать большой дом, лошадей, заниматься благотворительностью, хорошо одеваться, давать хорошие обеды и прочее. Но Вера Николаевна знала о том, как шатко финансовое положение семьи, а потому, пыталась всячески поддержать мужа от банкротства, экономя доже на себе.

Недалеко от шоссе раздались знакомые звуки рожка –

приехала сестра Веры Николаевны – Анна Николаевна Фриессе. Она обещала помочь сестре по хозяйству. Сестры радостно приветствовали друг друга, ведь были очень близки с детства. Хотя и имели совершенно разную внешность: старшая Вера была похожа на англичанку-мать – высокая и с аристократическими чертами лица, а младшая – пошла в отца, татарского князя, была красива не классической красотой, а южной, несколько вызывающей и немного надменной. Муж Анны был богатым, но глупым человеком, которого она не любила, но родила от него двоих детей: мальчика и девочку, а Вера детей не имела, хотя и мечтала о них, поэтому всю нерастраченную любовь без остатка отдавала племянникам.

Характер сестер был также различен, как и их внешность: младшая любила флирт, новые знакомства, хотя и оставалась верной мужу, ей нравились азартные игры, сильные эмоции, острые впечатления, она сорила деньгами, вызывающе одевалась и вела себя. Старшая – была со всеми приветлива, величественно спокойна и внешне холодна. Обе сестры были очень набожны.

Девушки присели на скамеечку над обрывом, чтобы поговорить и полюбоваться морем. Анна подарила Вере замечательную антикварную записную книжку – молитвенник, в старинном переплете невероятно тонкой ручной работы на тоненькой золотой венецианской цепочке и подарок привел Веру в восторг.

Они прошли в дом и Вера сокрушалась, что не хватит продуктов, которые невозможно было купить даже в городе, но вспомнила про морское чудище, которое утром принес рыбак к столу – морского петуха. Повар Лука, занимавшийся торжественным обедом, обещал и его прекрасно приготовить.

Вечером прибыли гости: муж Веры – князь Василий Львович, его сестра – Людмила Львовна, молодой богатый повеса Васючок, известная пианистка Женни Рейтер, шурин князя – Николай Николаевич, супруг Анны с профессором Спешниковым, местный вице-губернатор фон Зекк, генерал Аносов – близкий друг отца сестер, бравый, отважный воин и крестный отец Анны; штабной полковник Пономарев и гусарский поручик Бахтинский. Сам генерал Аносов – невероятно колоритная личность, которую знал и уважал весь город. О его военных подвигах ходили легенды, его любили и уважали все: от главнокомандующих до простых солдат. Он был глух после ранения, гулял в сопровождении двух излишне откормленных мопсов и занимал пожизненную должность коменданта крепости. Своих детей у него не было и он всю нерастраченную любовь щедро отдавал сестрам, которые рано остались сиротами, а его с нежностью называли дедушкой.

Вечер проходит душевно, много шутят и смеются, у всех прекрасное настроение и после обеда вся компания, за исключением Веры, засела за игру в покер – любимую игру обоих семейств: и Шейных, и Фриессе. Неожиданно, княгиню окликает горничная Даша и сообщает о загадочном предмете в квадратной коробке, который принес посыльный и просил отдать лично в руки барыне. Этим предметом оказался гранатовый браслет, а записка внутри сообщала, что это подарок от давнего поклонника Веры, семейная реликвия и маленький центральный зеленый камешек наделял свою владелицу даром предвидения. Она мучительно размышляет о том, говорить ли мужу о подарке.

Тем временем, вечер в самом разгаре. Анна кокетничает с Бахтинским, кто-то играет в карты, а муж Веры показывает гостям шутливый альбом, проиллюстрированный лично Василием Львовичем и в котором про каждого из присутствующих придумана смешная, карикатурная история. Есть история и про загадочного поклонника Веры, его называют то телеграфистом, то трубочистом – вся ситуация выглядит комично, но сама княгиня нервничает. Ей не нравится эта шутка.

Гости начали постепенно расходиться. Генерал Аносов собрал вокруг себя в беседке всех оставшихся и еще некоторое время развлекал рассказами о своем военном прошлом, о любви, о сражениях. Потом он собирается идти пешком навстречу своему экипажу и сестры вызываются проводить его. Вера перед уходом тихо шепчет на ухо мужу о подарке и записке, просит прочесть ее.

Провожая генерала Аносова, они разговаривают с Верой о любви, о том, какая она бывает и как сильно женщинам хочется встретить на своем жизненном пути именно такую: пылкую, настоящую, всепоглощающую. Но ее, вероятно, вовсе не существует. Он говорит, что давно простил супругу, которая убежала от него вскоре после свадьбы с каким-то актером. Она рассказывает о странном поклоннике, следившем за ней и докучавшем задолго до свадьбы, о своей просьбе не беспокоить ее и о сегодняшнем подарке. Генерал заключает, что это либо какой-то сумасшедший маньяк, либо та самая любовь, о которой все мечтают.

Княгиня возвращается домой и застает брата в ярости от этого нахального ухажера. На семейном совете они решают узнать как-нибудь имя этого прохвоста и вернуть ему подарок. А заодно, хорошенько с ним поговорить о недопустимости дальнейших ухаживаний. На следующий день князь Василий Львович и Николай Николаевич отправились на квартиру к Желткову, который и был тем самым поклонником. Последний сообщает, что любит Веру Николаевну и ничего с собой сделать

не может, но обещает покинуть город и оставить семейство в покое. Напоследок просит разрешения у супруга княгини написать ей последнее письмо и получает разрешение. Ночью, перед сном Вера говорит, что предчувствует самоубийство этого несчастного.

Следующее утро приносит известие о гибели Желткова и это действительно самоубийство. Вскоре приходит и его последнее письмо к Вере, в котором он просит за все прощения и говорит о любви. Она плачет, ей очень жаль этого незнакомого ей человека. Показывает письмо мужу и просит разрешения поехать посмотреть на тело юноши. Супруг ей разрешает это сделать и сообщает, что этот мальчишка ее действительно любил, по-настоящему, беззаветно. Он не был сумасшедшим.

Вера Николаевна приходит в квартиру Желткова, чтобы проститься с ним. Понимает, что пропустила ту чистую, волшебную любовь, о которой говорил генерал Аносов. Оставляет красную розу в изголовье трупа и, уходя, получает от хозяйки квартиры клочок бумаги, на котором написана рукой юноши фраза о самой лучшей сонате Бетховена. Она плачет.

Возвращается поздно вечером домой и застает только пианистку Женни – свою давнюю подругу. Она очень рада ей и просит что-нибудь сыграть для нее. Женни играет ту самую Вторую сонату Бетховена, а в душе у Веры хаос. Она горько плачет. Понимает, что музыка сочетается с последними словами из письма молодого человека и каждая строчка заканчивается фразой: «Да святится имя Твое». Скорби княгини нет предела, ее душа разрывается.

Обеспокоенная пианистка спрашивает, что случилось, на что Вера Николаевна констатирует – он простил ее, теперь все хорошо.

Ю-Ю

Ее кличка была «Ю-ю», которую придумал трехлетний ребенок и изначально это был маленький пушистый комочек, пивший молочко из блюдечка, гонявшийся за мухами, смешно игравший лапкой с бумажками и собственным хвостом. Совершенно незаметно этот комок стал большой, гордой прекрасной кошкой, первой красавицей в городе.

Рассказ перемежается с обращением к маленькой Нике с наставлениями: не совать пальчик в рот, слушать внимательно, не крутить ушко Бобика, словно шарманку.

Чудесная кошка была каштанового цвета, с рыжими пятнами на груди, белым воротничком, пушистым хвостом и штанишками на задних лапках.

Далее длинное размышление о том, что каждое животное по-своему уникально. Будь то лошадь или гуси – умнее и преданнее их не найти.

Кошечка обладала своим особенным характером, спала в доме, где хотела, но больше любила газетные стопки. По утру ласково тыкалась мордочкой в лицо и говорила: «Муррм!» – это был ее способ общения. С помощью него она легко могла выразить восторг или негодование, радость или тревогу. Она никогда не мяукала, этого звука ей было достаточно. Краткое «Муррм» означало просьбу следовать за ней. Поутру она требовала открыть ей детскую, где спал четырехлетний мальчишка со своей матерью. Сначала Ю-ю здоровалась с хозяйкой, затем ловко запрыгивала в кроватку к мальчику, где приветствие было долгим и бурным.

Ю-ю никогда ничего не просила, но прекрасно знала время возвращения юноши из мясной, улавливала его шаги издалека и радостно устремлялась навстречу говядине. Мальчуган угощает ее свежим мясом, но погладить себя она не позволяет даже ему, ведь она – царица: наполовину сибирская, наполовину державная бухарская. Все, что не касается лично ее или ее дома – пустяк, на людей она смотрит повелительно холодно и иногда позволяет им быть рядом.

Автору нравится выполнять распоряжения пушистой красавицы: чем бы он ни был занят, если она хочет пить, то следует немедленно подчиниться, открыть воду или вовремя накрыть газетой, под которой она любит отдыхать. Приказания она отдает почти молча, одними глазами и коротеньким «Мррм». Когда автор работал по ночам, кошка неизменно оказывалась рядом. И вдруг, находились нужные слова, красиво

укладывавшиеся в строчки. С этими строчками любила играть Ю-ю, воображая их маленькими мухами, ловила лапками, размазывая чернила. По ночам она послушно сворачивалась на одеяле.

Однажды заболел четырехлетний друг Ю-юшки – Коля. Ее не пускали к заболевшему и она преданно лежала несколько дней около двери, отлучаясь лишь поесть и немного прогуляться, но всегда возвращалась обратно и стерегла дверь. Через нее проходили, наступали на лапы и хвост, она тихонько взвизгивала, но все равно всегда оказывалась на прежнем месте. И только, когда кризис миновал, кошка покинула свой пост и долго спала в хозяйской кровати. Спокойно и торжественно приходила к Коле, чтобы приободрить его.

Совсем слабого от болезни Николая отправили вместе с матерью отдыхать в санаторий, а кошка никак не могла понять куда они подевались. Подходила и, глядя в упор желто-зелеными глазами, говорила: «Мик» – это новое ее слово, дескать, где они, куда уехали?

Расстроенная Ю-ю спала на жестком, холодном полу, отказывалась перейти на мягкий диван, она как-бы наказывала себя и, заодно, всех нас за то, что не могли ей помочь. Но однажды она услышала разговор по телефону, быстро сообразила что к чему и переселилась поближе к аппарату. В порядке эксперимента, автор попросил Николая поговорить по телефону с кошкой, чтобы проверить, узнает ли она его. Но на момент разговора мальчик забыл все ласковые слова и эта затея провалилась.

Вскоре Ю-ю умерла от старости. И теперь в доме живет новый кот-воркот, бархатный живот.

Слон

Одна маленькая девочка больна равнодушием к жизни. К ней каждый день приходят доктора и уговаривают мать заинтересовать чем-нибудь дочь. Но Надюше ничего не хочется. Не в силах ее развлечь и отец, который много курит и иногда плачет. Девочка слабеет с каждым днем, но у нее ничего не болит и нет высокой температуры. Ей просто скучно.

Но как-то поутру она просыпается гораздо живее обычного и просит у родителей слона. Ей немедленно покупают дорогую, красивую игрушку – слоника на ключике, которого можно завести и он будет шагать, шевелить хвостом и хоботом. Но Наденька расстроена. Ей нужен живой слон, хоть маленький. Отец вызывается исполнить просьбу дочери.

Он отправляется в зверинец и упрашивает немца – хозяина зоопарка отпустить к нему домой на время слона. На него смотрят, как на сумасшедшего, но он объясняет ситуацию и ему соглашаются пойти навстречу.

С большой помпой и толпой зевак, слона Томми ночью приводят в квартиру к маленькой девочке. Закрепляют его за крюк в стене, оставляют свежие овощи, а немец ложиться спать рядом с питомцем.

Утром Надя просыпается и сразу идет знакомиться со слоном. Он ей нравиться, хотя и гораздо больше по размеру, чем она представляла. Она знакомит его со всеми куклами, показывает картинки в книжке. Они вместе обедают. Слон очень добр и играет с девочкой. Они становятся настоящими друзьями. Так незаметно проходит день и совсем сонную и счастливую Надю относят на руках спать.

На следующий день она просыпается совершенно здоровой и спрашивают о слоне, но ей отвечают, что он был вынужден уйти, однако, ждет Надю к себе в гости. Девочка просит передать Томми, что она совсем скоро его навестит.

Белый пудель

По южному побережью Крыма странствует маленькая бродячая труппа. Возглавляет ее белый пудель – Арто, за ним идет двенадцатилетний мальчик Сергей с ковром под мышкой для акробатических упражнений и с клеткой со щеглом, который умеет вытаскивать бумажки с предсказаниями для зрителей. Замыкал труппу Мартын Лодыжкин с шарманкой на спине.

Эта шарманка неоднократно ремонтировалась, но все напрасно – она была просто слишком старой. Но Лодыжкин видел в ней почти живое существо и за много лет привязался к инструменту. Равно как и к пуделю и мальчику, которого выменял у забулдыги-сапожника за два рубля в месяц. Последний вскоре помер и мальчишка остался сиротой, накрепко привязавшись к дедушке.

День был знойным, безветренным и мальчик просит искупаться в море, но старик запрещает, приговаривая, что лучше уже дойти до Мисхора, а там и отдохнуть. Они подошли к дачному поселку, но их отовсюду гнали или платили очень-очень мало. Расстроенные, они подошли к последней даче, которую сразу не заметили и старик сообщил, что уж там-то им наверняка будут рады. Они зашли в ворота и прошли по хрустящему гравию к дому, как вдруг, оттуда выбежал маленький мальчик, повалился на спину и принялся колотить руками и ногами. Вокруг него собрались взрослые, но он не желал никого слушать. Лодыжкин и Сергей начали представление, но их быстро прервали и выгнали прочь. Однако, вскоре маленький барин, недавно устроивший истерику, повелел вернуть их обратно. Представление продолжилось. По его окончании, капризный ребенок заревел, что хочет собаку, но старик и мальчик не согласились продать Арто ни за какие деньги и их с угрозами грубо выгнали.

Вся труппа с наслаждением купается в море, охлаждаясь от полуденного зноя. Но внезапно, они замечают идущего к ним дворника с дачи, которой их недавно выгнали. Этот человек снова уговаривал их продать собаку и ему снова в этом отказали. Путники продолжили свой путь, скромно перекусили и их разморила усталость, они заснули. Проснувшись, не нашли собаку – ее украли. Они заплакали, но делать нечего. У старика был поддельный паспорт, а с такими документами они ничего сделать не могли. Пришлось смириться с потерей Арто.

Подавленные потерей близкого друга, старик и мальчик устроились на ночлег в маленькой турецкой кофейне. Когда Лодыжкин заснул, Сергей отправился снова в тот дом, чтобы

вернуть свою собаку. Ценой неимоверных усилий ему это удалось и вдвоем они вновь вернулись в кофейню, где спал дедушка. Пес сразу радостно его разбудил, а мальчик, утомленный борьбой, сладко заснул.

Анафема

Дьяконица – маленькая тщедушная женщина совершенно руководит своим огромным мужем дьяком, который заставляет дрожать старинный собор под звуками своего голоса. Детей у них с женой нет, но как-то вместе живут, хотя он ее немного побаивается.

Дьякон отец Олимпий – страстный поклонник чтения. Он читает все и без разбору. Новыми книгами его снабжает студент из Вифанской академии Смирнов. Накануне тот принес ему повесть о солдатах-чеченцах, которые охотились, воевали и пили вино. Книга дьякону понравилась невероятно.

К началу службы он всегда немножко опаздывал, чувствовал себя знаменитостью, которой публика все прощает.

В этот раз во время богослужения, он внезапно вспомнил строчки из повести и пропел их, перемежая с молитвами. Восторженная публика внимала каждому его слову. Затем надо было прочесть проклятья и анафему на всех неверных и обидчиков церкви. Вместо того, чтобы это сделать, он своим зычным голосом провозгласил совсем другие вещи. Сюжет повести никак не шел у него из головы. Закончив, он просто вышел из храма и побрел прочь.

Его догнала жена – дьяконица с упреками и проклятиями, но он спокойно ответил, что в Бога искренне верит, а проклинать никого не намерен. Поэтому лучше ему поискать себе другое занятие в жизни.

Болото

Летний вечер плавно переходит в ночь, красные отблески зари еще освещают верхушки деревьев, но внизу уже темно и сыро. Отчетливо ощущается запах дыма с лесного пожарища. В свои права вступает ночь, мягко укрывая землю.

Два путника – землемер Жмакин и студент Николай Николаевич поздно бредут со съемки, но до дома еще очень далеко, поэтому принято решение заночевать в лесу у лесника Степана. Высокий и худой землемер идет быстрым шагом, а за ним еле успевая, плетется полный студент Сердюков, но первый намеренно не идет медленнее, ему нравятся страдания последнего.

На работу Жмакина позвала вдова-помещица Сердюкова, а ее сын вызвался добровольно помогать ему. Но слава о землемере была плохая: он часто и много пил, был мелочным, злым и никчемным. Задорная молодость, свежесть и болтливость студента его сильно раздражают. Грубо оборвав его очередную тираду, Жмакин устремился вперед. Внезапно, повеяло прохладой, как из подвала и землемер предупредил, что здесь болото. Только после его слов Николай Николаевич заметил, что идет по шаткой, зыбкой почве. Это была плотина, но по бокам от нее – настоящее болото.

Они заблудились, покричали леснику и через некоторое время вдалеке увидели его фонарь, который быстро приблизился и Степан помог им выйти из болота. Они оказались в его избе. Жмакин там ведет себя по-хозяйски, хамовато требует самовар и яичницу, а студент рассматривает жилище и пытается поговорить с детьми. Оказывается, что все они больны болотной лихорадкой из-за большой влажности от болота. Не помогают никакие лекарства, а дети гибнут один за другим. Но Степан отказывается куда-то переезжать, мотивируя это тем, что здесь все равно кто-то должен жить. Не он, так другие – разницы нет.

Угнетенный безвыходным положением этой семьи и общей безнадегой, студент, наконец, улегся спать. Землемер уже давно спал. А Сердюкову не спалось, он все думал об этих несчастных больных людях и что-то недоброе мистическое мерещилось ему. Внезапно раздался стук в окно и Степан нехотя встал с пола около печки, где спал. Оказалось, что пожар перекинулся в Кислинскую дачу и лесничий собирает всех лесников, поэтому и он пошел.

Ошеломленный Николай Николаевич тяжко размышляет о судьбе Степана, его жены и детей, спрашивает себя: почему они

должны страдать? И не находит ответа. Равно как и не понимает, как очень больной лесник по первому слову собрался и безропотно пошел туда, куда его звали. Плотный белый болотный туман прочно укутывал домик лесника, за ним ничего нельзя было разобрать, ядовитым газом просачивался в двери и окна, отравляя все живое.

С первыми лучами рассвета студент спешно покидает эту странную хижину, чтобы поскорее пробежать всю дорогу обратно по болотной плотине на пригорок, наверх, подальше от этой гнили и тумана, к солнечному свету, чистому и здоровому воздуху.

Гамбринус

Такое название имела пивная, которая находилась в оживленном портовом городе южной России. Случалось, что и постоянные ее посетители каким-то образом проходили мимо этого заведения, поскольку найти его было непросто. Она располагалось под землей и входить в него следовало прямо с тротуара, спускаться вниз по каменным ступенькам, чтобы воочию лицезреть огромную статую короля Гамбринуса – покровителя всех пивоваров. Окон в пивной не было вовсе, а со стен постоянно стекала подземная влага, искрящаяся в свете газовых рожков – типичное подвальное заведение. Стены были украшены разнообразными картинками, столами служили большие пивные бочки, стульями – бочонки поменьше.

В этом заведении всегда было многолюдно, сменялись годы, хозяева пивной, многочисленные посетители, но на протяжении многих лет лишь два человека были неизменными посетителями «Гамбринуса» – музыкант-еврей Сашка с собакой Белочкой и буфетчица мадам Иванова – пожилая полная женщина, постоянно курившая и косившаяся на посетителей прищуренным от дыма глазом.

Гигантский международный порт был всегда очень оживленным местом, сюда постоянно заходили новые суда, можно было слышать речь на всех возможных языках мира, бесконечно сновали туда-сюда матросы, повсюду была ругань и грязь. Прибрежные таверны предоставляли морякам неограниченные возможности: перекусить, найти ночлег, продать все, что угодно и что-угодно купить, многочисленные кофейни предлагали всевозможные игры, а за стенами домов часто были целые казино, публичные дома. Это грязное и зловонное место магнитом манило к себе матросов, но еще больше, их манил город своими огнями и обещаниями славного веселья. Однако, подняться наверх, в чистый, сверкавший своими витринами и куполами соборов, город отваживались немногие. Посещение «Гамбринуса» было традицией, нарушать которую не хотелось, а потому, зачастую отважные смельчаки по ночам тихонько выбирались в самый центр города к заветному заведению. Причем, знали больше Сашку-еврея, чем само название пивной.

Музыкант-Сашка всегда приходил в пивную, когда там было еще мало посетителей, приветствовал мадам Иванову и играл что-то еврейское и печальное. Вскоре подтягивались любители пива и музыкальный репертуар становился веселее и богаче. В конце концов, гостей собиралось так много, что было тяжело

дышать отпьяный испарений толпы. Сашка был нарасхват, пьяные голоса постоянно умоляли его сыграть что-то свое, ему давали серебряные монеты и он по очереди исполнял все заказанные песни. Мужчины звали его к себе, чтобы угостить пивом, а женщины строили ему глазки и кокетничали. Талантливый музыкант умел так подобрать мелодию, что вся самая интернациональная публика была довольна, нахваливала его и восхищалась им. Не смущала пьяный люд ни теснота, ни разлитое пиво, ни отдавленная нога – все были пьяны и счастливы. Однажды друг Сашки уговорил профессора музыкального училища зайти послушать его талант, но музыкант догадался об этом и специально играл из рук вон плохо, поэтому профессор был недоволен.

Пили в «Гамбринусе» очень-очень много. Туда часто наведывались компании после успешного завершения дела, будь-то воровские шайки или матросы после удачного улова, или компании английских моряков – для всех них Сашка умел сыграть что-то свое, так что никто не чувствовал себя лишним. А танцы любили особенно, отдавались этому занятию полностью и отплясывали джигу так, что пол пивной ходил ходуном от тяжелых сапог. Все посетители хорошо знали музыканта и непрерывно к нему обращались по разным поводам: сыграть ли песню, одолжить ли небольшую сумму. И Сашка всегда удовлетворял их запросы. Пускай, долгов ему напрямую не возвращали, но в период кутежа этот заем возвращался к нему сторицей в виде потока серебряных монет за музыку.

Песенный репертуар «Гамбринуса» был всегда созвучен политическим настроениям в стране, поэтому популярными становились то «Бурский марш», то «Марсельеза», то еще что-нибудь без названия. Между тем, началась русско-японская война и в моду вошла Балаклавская печальная мелодия. В пивной люди часто спорили о войне, обсуждали ее и иногда, даже дрались. Но однажды Сашка пришел в «Гамбринус» очень рано и сообщил всем, что его забирают в солдаты. Это известие повергло посетителей в шок, но понимали, что помочь ему никак нельзя. Поэтому в тот же вечер он подарил свою скрипку смельчаку, вызвавшемуся идти на войну за него, а собака Белочка была доверена мадам Ивановой. Сам Сашка в тот вечер напился до бесчувствия.

С уходом такого талантливого музыканта, «Гамбринус» будто осиротел. Дела пошли очень плохо. Ни один исполнитель не мог там прижиться надолго. Дольше всех терпели Лешку-гармониста. Сначала Сашку вспоминали часто, потом все реже и реже. В конце концов, через два года его имя и вовсе почти не упоминали. Но

случилось так, что Сашка вернулся с войны целым и невредимым. Весть об этом электрическим током разнеслась среди всех почитателей его таланта и тем вечером в пивной был аншлаг небывалый. Лешку-гармониста выкинули за дверь и чуть не поколотили, а радости от встречи с Сашкой не было предела. Лишь мадам Иванова заметила, что глаза музыканта стали грустнее, хотя он и гримасничал, как раньше.

Какое-то время все вернулось на круги своя. Но не надолго. Началась коммунистическая пропаганда. Люди ходили в красном. Но потом город вдруг стал чужим сам для себя, боялись говорить, боялись думать. Никто ни с кем не дружил и не разговаривал. Развернулись гонения на евреев, но Сашку никто не трогал. Только однажды на него замахнулся безумный оголтелый коммунист каменщик, но его быстро осадили. В бессильной злобе, что ему не дали убить жида, он жестоко убил Белочку, вертевшуюся у ног еврея.

Времена наступили совсем страшные. По городу сновали сыщики, вели себя нагло, развязно, грабили и убивали безнаказанно. Однажды десять таких человек зашло в «Гамбринус» и один из них серьезно оскорбил Сашку, который не смолчал и сломал о хама свою скрипку. Вскоре музыканта забрали в Бульварный участок. И все решили, что теперь ему точно конец, зная о жестокости этого места.

Через три месяца Сашка вновь объявился в «Гамбринусе», худой, заросший, изможденный и с изуродованной рукой. Его вновь приветствовали, не веря своим глазам. А он изловчился играть на губной гармошке, раз прежняя скрипка теперь недоступна. Можно уничтожить человека, но искусство и талант – никогда.

Изумруд

Так зовут четырехлетнего бегового жеребчика американского склада, серебристо-стальной масти. Он просыпается около двенадцати, как обычно. Напротив и по сторонам от него лошади смачно хрустели сеном, фыркая от пыли. По храпу он определяет, что дежурный конюх – Василий – молодой человек, часто курящий вонючий табак, кричащий и бьющий лошадей.

Напротив от него располагалась молодая вороная кобылка Щеголиха. Его волновал запах ее тела и лукавый взгляд. А справа располагался старый бурый жеребец Онегин, ревновавший молодую лошадку. Они часто ссорятся из-за нее.

Увлекшись едой, Изумруд вспоминает, что накануне сено и овес задавал конюх Назар – хороший пожилой человек, но его руки дрожали при управлении вожжами, а движения были не точны. Василия не любила ни одна лошадь, как бы криклив и драчлив он ни был. Все знали, что он – трус. Третий конюх был получше предыдущих, но не любил лошадей, а потому, не мог рассчитывать на взаимность. Четвертый – Андрияшка – совсем еще мальчишка и ведет себя соответственно: играет с лошадьми, как с куклами и смешно целует в морду. То ли дело худощавый бритый человек с золотыми очками, который никогда не кричит и не ругается, но одними пальцами способен заставить лошадь делать, что угодно.

Молодому жеребцу вспомнилась дорога на ипподром, зеленая травка, желтый песочек, бегущие галопом лошади и травма трехлетнего каракового коня, подвернувшего ногу и теперь хромавшего. Случайный клок сена с необыкновенным ароматом, вдруг, возбудил в уме первого какое-то давно забытое воспоминание, но так его и не вспомнив, он задремал.

Изумруд всегда спит стоя, ему снится собственное детство, радость от ясного солнца, голубого неба, молодецкой удали, мать – костлявая спокойная кобыла, сладость ее молока и материнской заботы. Наступил рассвет, лошади знают, что сейчас все конюхи соберутся, чтобы дать им овса, поэтому нетерпеливо ржут. Жеребчик жадно принимается за угощение, замечая солнечные полоски света через дверь конюшни.

После завтрака его вывели на улицу, окатили несколькими ведрами холодной воды, высушили, вычистили щетками и вытерли шерстяной рукавицей. Это был день скачек. Пришел высокий, худой англичанин в золотых очках. Его уважали и боялись. Этот странный, но добрый, внимательный человек особенно обращает внимание на упряжку Изумруда, лично все

проверяя. Конь горд такой честью. Потом на всех лошадей надевают серые попоны с красными рисунками и ведут на ипподром. Там уже собралось много людей и лошадей, которых водят по кругу против часовой стрелки перед забегом. Молодой жеребец узнает товарища – белого жеребчика и тихонько приветствует его.

Изумруда запрягли в колесницу-американку и уверенной рукой направили на разминку. Он выучен настоящей американской выездке и теперь с наслаждением носится по кругу. Рядом разминается и стройная гнедая кобылка. Жеребец пытается с ней заиграть, но англичанин не позволяет.

Наконец, начинается сам забег: соперник Изумруда – огромный вороной жеребец, рядом же, бежит белый молодой жеребчик. Могучие и мудрые руки грамотно направляют лошадь и Изумруд без труда оставляет всех далеко позади. Он победил. Через несколько минут, его, уже распряженного, вновь приводят на ипподром, к нему сбегаются люди, но они чем-то сильно недовольны, кричат и ругаются.

Изумруд вернулся домой, где получил свой положенный овес, но на бега и разминки его брать перестали. Зато, стали приходить незнакомые люди, для которых его выводили во двор и прогуливались с ним. Эти люди тоже все время кричали друг на друга, ощупывая лошадь со всех сторон.

Однажды поздним вечером его вывели из конюшни, провели по улицам города на вокзал, посадили в вагон и куда-то далеко отвезли. Долго вели по незнакомой дороге и заперли в чужой конюшне. Его от кого-то скрывали. Конь тосковал по бегам, его молодому телу не хватало движения. К нему, по-прежнему, приходили какие-то люди, ощупывали его и ругались. Потом главный конюх этой конюшни принес ему какого-то странного овса. Изумруд послушно поел его. Внезапно, ему стало очень плохо, он упал и умер.

Молох

Раздается оглушительный рев заводского гудка перед началом рабочего дня. Серый рассвет дождливого августовского дня делает его зловещим и угрожающим. Изрядно физически и морально истощенный, инженер Бобров в это время пьет чай. Он пытается избавиться от давней привычки впрыскивать себе под кожу морфий. Бессонница жестоко мучает его.

В семь часов утра он вышел из дома, направляясь на завод. Нервный и подавленный, он чувствовал, что товарищи не в состоянии понять его переживаний. А работа давно уже внушала ему отвращение и, даже, какой-то страх. Андрей Ильич не приспособлен для инженерного дела по складу характера и ушел бы из института на первых курсах, если бы не желание матери. Нежная, ранимая душа этого человека глубоко страдала от такого рода занятий. Он был невысокого роста, худой и с некрасивым лицом, но улыбка волшебным образом делала его черты мягче и он становился гораздо миловиднее.

Завод был действительно огромен: занимал площадь в пятьдесят квадратных верст и больше напоминал отдельный город. Шум, лязг, суета и тяжкий запах серы, смешанный с железным угаром, царили на нем. Маленькие поезда без конца сновали во всех направлениях, а на окраине завод стоял длинный товарный поезд и рабочие разгружали его. Оттуда то и дело сыпались целым потоком кирпичи, лязгало железо, летели тонкие доски. Постоянный монотонный гул тысяч звуков наполнял окрестности. Это было страшное, но величественное место.

Нынче Бобров чувствовал себя особенно нехорошо и ему было стыдно за свой чистый внешний вид, глядя на измазанных сажей рабочих.

От наблюдения за работой сварочной печи, инженера отвлекает сослуживец Свежевский – нервный и не приятный тип, сообщающий о похвале Боброва директором и настоятельной просьбе быть на вокзале к приходу двенадцатичасового поезда. Ожидают прибытие члена правления Квашнина – очень толстого, высокого, рыжего человека с громогласным голосом.

После работы на заводе, Бобров наскоро обедает и едет верхом на казенной гнедой донской лошади Фарватере в гости к Зиненкам. Глава семьи Зиненок занимал на заводе должность заведующего складом, был внешне добродушным, но очень пронырливым типом: льстил начальству и сурово обращался с подчиненными. Этот гигант был во всем послушен жене – маленькой женщине с крошечными серыми глазками. А еще, у

него было пять дочерей: Мака, Бета, Шурочка, Нина и Кася. И каждая из них играла свою социальную роль в семье: Мака – считалась простодушной и с ангельским характером; Бета – носила пенсне, ходила странной ныряющей походкой и считалась умницей; Шурочка увлекалась игрой в дураки со всеми неженатыми инженерами завода, она жеманно кокетничала, а когда предыдущий кавалер собирался жениться, то негодовала и досадовала, избирая себе новую жертву. Нина была любимицей в семье, фигура ее была лучше, чем у сестер, лицо – миловидным, на нее возлагали большие надежды, а потому, часто баловали. Кася была четырнадцатилетним подростком, но выше матери и всех сестер, с впечатлительными формами рано созревшей девочки.

Весь завод знал об этой семье, там часто бывали молодые инженеры и студенты-практиканты, воспринимавшие их дом как гостиницу, где можно хорошо поесть, много выпить, но ни один из них не собирался жениться ни на одной из девиц.

Боброва в семье не любят, но ему нравится Нина. Он скучает по ней, если не видит ее несколько дней, но она же его и утомляет от встреч в течение нескольких дней подряд. Тем не менее, он даже подумывает ей сделать предложение. Когда Андрей Ильич подъезжает к Шепетовке – дому Зиненок, его встречает Нина в желтой кофточке, насмехается над Фарватером и проводит в гостиную к матери. Та притворяется, что рада видеть гостя и предлагает чай, но инженер отказывается. Они с девушкой присоединяются к компании молодежи, но вскоре остаются одни. Боброву кажется, что он любит Нину и твердо решает на ней жениться, хотя ему и не нравится ее механическая заученность фраз и узкость мышления с бедным словарным запасом.

Во время беседы о предстоящем визите Квашнина, упоминается его огромный годовой заработок – триста тысяч. Эта сумма кажется всем собравшимся почти астрономической, а Анна Афанасьевна – мать Нины мечтательно выговаривает как хорошо было бы выдать ее за него замуж. Уязвленный Бобров одевается и незаметно уходит. Он расстроен.

Подъезжая к дому, замечает свет в своих окнах и поминает, что это доктор Гольдберг – молодой еврей, с которым они успели подружиться. Андрей Ильич не в духе и краем уха слушает истории из врачебной практики друга. Видя это, доктор предлагает подремать немного, приняв пару ложек брома. Они ложатся в одной комнате, но обоим не спится. Наконец, инженер объясняет Осипу Осиповичу, что ужасно устал от этой работы на заводе, что она ему не нравится и он вообще ее считает

бесполезной. Доктор возражает, что надо как-то приспосабливаться. Они ожесточенно спорят и Бобров называет завод Молохом, который постоянно требует теплой человеческой крови, сравнивая с древним богом огня и войны, которому тоже приносили человеческие жертвоприношения. Инженер так исступленно доказывает врачу, что завод каждый день забирает по двадцать лет жизни человека, что последний его начинает считать сумасшедшим. Ему жаль друга, но он и начинает его бояться, поскольку он действительно безумен.

На следующий день прибыл Василий Терентьевич Квашнин. Его приехало встречать все руководство завода и семья Зиненко. Бобров пытается объясниться с Ниной, но этому мешает прибытие члена правления. Безобразно толстый и ленивый, он замечает Нину и расспрашивает о ней. Просит его ей представить.

По поводу закладки каменных работ и открытия кампании новой домны планируются пышные торжества. Квашнин специально пригласил из Петербурга и других членов правления, чтобы произвести на них впечатление мощью завода. Это нужно, чтобы правление одобрило выпуск облигаций, выгодных для Квашнина. Гости поражены и шокированы. Потом они все пошли на торжественный обед. Андрей Ильич смотрит на работу печи, когда к нему сзади неслышно подходит друг – Гольдберг. Они беседуют о том, что пока одни говорят возвышенные тосты и обедают, другие живут в нищете. А в городе уже два случая заражения брюшным тифом и оба с летальным исходом. Того и гляди, эпидемия начнется.

Тем временем, Квашнин стал завсегдатаем в гостях у Зиненок, дарил барышням подарки, вел себя бесцеремонно и грубовато, но хозяйке не хватало ни такта, ни смелости осторожно намекнуть об этом гостю. Она жеманно улыбалась, а девицы и вовсе были счастливы всяким безделушкам. Также постоянным гостем стал Свежевский, подобострастно служивший и льстивший Квашнину. А Бобров скучал по Нине и мечтал с ней встретиться. Они действительно встретились во время прогулки на лошадях и девушка пригласила инженера на пикник, устроенный Василием Терентьевичем. Была так мила и ласкова с ним, что он поверил во взаимность любви.

На пикник собралось множество народу, около девяноста человек. Бобров ожидал на вокзале Нину и рассчитывал на ее влюбленные знаки внимания, сам собирался ей их оказывать. Но Нина ведет себя странно: она серьезнее обычного, холодна и держится отстраненно. Инженер старается не обращать на это особого внимания, теша себя иллюзиями, что она стесняется толпы и не хочет при всех показать свои чувства к нему. У него

замечательное настроение. Но оно стремительно сменяется ощущением чего-то нехорошего от поведения Нины.

Сам праздник на природе был организован в восьмигранном павильоне с круглой площадкой для танцев неподалеку. Молодежь весело отплясывала и смеялась. А Андрею Ильичу никак не удается поговорить с Ниной, она избегает его. Наконец, они объясняются и девушка говорит, что им нужно навсегда расстаться. Бобров ошеломлен и расстроен. Чувствует себя чужим среди всей этой веселящейся толпы. Сзади подходит друг-доктор и уговаривает гнать прочь тоску. Уводит его в шатер, где они с Андреа напиваются коньяком, но душевная боль инженера не проходит, а только усиливается. В это время Квашнин объявляет о помолвке Нины и Свежевского, а Андреа добавляет, что со следующего месяца жених станет председателем правления. Не успел он договорить, как спешно прискакал десятник с сообщением о том, что на заводе беспорядки, а самое лучшее для всех, теперь разъехаться по домам. У всех шок и расстройство, спокоен только Андреа, который говорит, что так и знал, что этого не миновать.

Началось поспешное отбытие всей компании, сопровождавшееся давкой и хаосом. Первым уехал Квашнин. За ним и все остальные. Бобров подгонял кучера Митрофана скорее ехать на завод. Подъехав ближе, они увидели, что рабочие его подожгли. Кто-то кинул камень, попавший прямо в висок Андрею Ильичу, очень серьезно его ранив. Обезумевший от сердечных страданий и потери крови, он блуждал по заводу, собираясь взорвать его.

Утром он пришел в заводскую больницу и попросил Гольдберга инъекцию морфия. Он больше не в силах был это все выносить.

Allez!

Именно это слово – первое воспоминание мадмуазель Норы из ее мрачного, бродячего детства. Оно вызывает в памяти холод, вонь конюшни, тяжкий галоп лошади и свист удара хлыстом.

Во время обычной дневной работы в цирке, на пустых трибунах в первом ряду сидят тепло одетые артисты в шубах, а маленькая девочка, дрожа от холода и страха выучивается ловко ездить на огромной белой лошади, мчащей ее по кругу. А коренастый мужчина с цилиндром на голове и закрученными в ниточку усами, командует: Allez!

Или вот, она под самым куполом цирка и ей необходимо соскочить вниз, в крепкие руки жонглера, но страх и оцепенение сковывают ее сердце. Крик: Allez! И она выполняет любое поручение: скользит по живой пирамиде из людей, разгуливает очень высоко над землей по тоненькой проволоке… И для людей, и для дрессированных животных один этот возглас: Allez! – значит очень многое и команду повиноваться.

Ей едва минуло шестнадцать лет и она была очень хороша собой. Но однажды, она срывается с воздушного турника и с огромной высоты падает вниз. В бессознательном состоянии ее относят за кулисы, где приводят в чувство и безжалостно заставляют снова выходить на арену цирка, чтобы успокоить почтенную публику.

Тот сезон был примечателен тем, что в цирке работал знаменитый клоун Менотти, который был по-настоящему известен, хорошо зарабатывал и носил дорогие костюмы. Едва Нора вылечила свою вывихнутую руку и пришла на утреннюю репетицию, Менотти участливо спросил ее о здоровье, держа за руку. Девушке не очень понравилось такое обхождение, она высвободила руку и покраснела до ушей.

Вскоре Менотти пригласил ее на ужин в ту великолепную гостиницу, где он всегда останавливался и она не смела возразить, считая его кем-то вроде высшего существа, полубога.

В течение года Нора ездит с ним из города в город, выполняя роль, скорее, служанки, которой хозяин разрешает себя обожать. Потом она ему надоела и он ее выгнал, перед этим хорошенько поколотив. Но она не мыслила жизни без него и снова вернулась к нему, хотя и знала, что Менотти приглянулась другая артистка и сейчас он с ней.

Пересиливая страх, она поднялась к нему в кабинет, где он был с другой женщиной, с силой распахнула дверь и увидела вино, свечи, фрукты, полуобнаженную англичанку и неожиданно

набросилась на нее с кулаками. Менотти едва разнял их. Нора кинулась перед ним на колени, умоляя принять обратно, но он очень грубо приказал ей убираться. Тогда она замечает открытое окно. Повисает, держась руками за рамы над огромной высотой. Потом, вдруг, говорит: Allez! – и отпускает руки.

Тапёр

Тиночка Руднева забегает, запыхавшись в комнату старших сестер, которые готовятся к предстоящему вечеру, с расспросами о том, где тапер. Она оббегала уже весь дом, но никто из прислуги ей так и не ответил на этот вопрос.

Старшая сестра – Лидия Аркадьевна не любила шума и гневно отчитала младшую сестру, которую недолюбливала. Тогда Тина обратилась к средней – Татьяне Аркадьевне с просьбой помочь и та милостиво согласилась.

Девушка только в этом году была допущена семейством к елке, тогда как в предыдущее Рождество, ее запирали в комнате с самой младшей – Катей и другими сверстницами, уверяя, что никакой елки нет. Поэтому сейчас она чувствовала себя почти такой же взрослой, как и старшие сестры, носилась по дому и очень нервничала перед торжеством.

Дом Рудневых – большой и ветхий, еще доекатерининской постройки, со львами на воротах и широким подъездным двором, был постоянно полон народу. Приходили часто без приглашения, наведывались неведомые прежде родственники и гостили месяцами, а уж многочисленных друзей и товарищей было вовсе не счесть. На каждый праздник весь огромный рудневский дом заполнялся разновозрастной, веселой молодежью и воцарялась полная анархия, доводившая до исступления всю прислугу. Каждый занимался, чем хотел и развлекал себя как мог, поэтому когда одни заканчивали обед, другие – только пили утренний чай. Со стола никогда не убирали, но шумная молодежь все равно умудрялась проголодаться и засылала к повару Акинфычу делегацию с просьбой приготовить что-нибудь вкусненькое.

Хозяйка дома – Ирина Алексеевна Руднева выходила из своих комнат крайне редко и только по особо торжественным случаям. Будучи урожденной княжной Ознобишиной, она считала для себя слишком грубым общество мужа и детей. Но отчаянно ревновала супруга, хотя и не показывала этого. Руднев Аркадий Николаевич – гурман, игрок, покровитель балета и непревзойденный дамский угодник, несмотря на пятьдесят с лишним лет. Дома он почти не бывал, предпочитая общество Английского клуба, а потому всегда бывал окружен большим количеством народа. Иногда ему нравилось неожиданно явиться перед домашней молодежью, затеять с ними какую-нибудь игру и самому в ней участвовать. Ни с кем и никогда они не веселились так, как с ним. Ежегодная елка доставляла ему особенную радость и никто, лучше него не мог все продумать и организовать.

Традиционно, всегда приглашали оркестр Рябова, но в этом году этого сделать не получилось, а потому, Аркадий Николаевич велел разыскать хорошего тапера, но кому именно это приказал, он не помнил. Тем временем, Тина успела переполошить весь дом и ситуацию разрешила Татьяна Аркадьевна, отправив Дуняшу на поиски тапера. Начали съезжаться гости. Единственным музыкантом, которого находит служанка, является маленький и очень худой мальчишка. Лидия Аркадьевна сомневается в его способностях, но Татьяна уговаривает дать ему шанс, тем более, что других вариантов нет. Не давая сестрам опомниться, Тина увлекает молодого человека в гостиную, где уже собрались взрослые и усаживает его за рояль.

Выпускник реального училища играет так хорошо, что из кабинета выходит даже Аркадий Николаевич, чтобы его послушать и хвалит талант молодого человека. Последний представляется Юрием Азагаровым. В доме начинается настоящее веселье, все рассматривают подарки, радуются елке и прекрасной музыке.

Еще во время игры на рояле, мальчик замечает фигуру странного пожилого человека, которому все кланяются в почтении. Лицо и манера поведения этого человека властные, не терпящие возражений. Он уходит в кабинет к Аркадию Николаевичу и они о чем-то там разговаривают, после чего этот странный человек просит юношу что-нибудь сыграть. Слушает его и исчезает. А хозяин дома вручает Азагарову конверт с деньгами и велит следовать за пожилым мужчиной, которого зовут Антон Григорьевич Рубинштейн.

Вскоре молодой человек прославился на всю страну, благодаря выдающемуся учителю. Но навсегда запомнил этот эпизод и эту удивительную судьбоносную встречу на рождественской елке в доме Рудневых.

Молох

Заводский гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый, непрерывный звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстилался по ее поверхности. Мутный рассвет дождливого августовского дня придавал ему суровый оттенок тоски и угрозы. Гудок застал инженера Боброва за чаем. В последние дни Андрей Ильич особенно сильно страдал бессонницей. Вечером, ложась в постель с тяжелой головой и поминутно вздрагивая, точно от внезапных толчков, он все-таки забывался довольно скоро беспокойным, нервным сном, но просыпался задолго до света, совсем разбитый, обессиленный и раздраженный. Причиной этому, без сомнения, было нравственное и физическое переутомление, а также давняя привычка к подкожным впрыскиваниям морфия, – привычка, с которой Бобров на днях начал упорную борьбу. Теперь он сидел у окна и маленькими глотками прихлебывал чай, казавшийся ему травянистым и безвкусным. По стеклам зигзагами сбегали капли. Лужи на дворе морщило и рябило от дождя. Из окна было видно небольшое квадратное озеро, окруженное, точно рамкой, косматыми ветлами, с их низкими голыми стволами и серой зеленью. Когда поднимался ветер, то на поверхности озера вздувались и бежали, будто торопясь, мелкие, короткие волны, а листья ветел вдруг подергивались серебристой сединой. Блеклая трава бессильно приникала под дождем к самой земле. Дома ближайшей деревушки, деревья леса, протянувшегося зубчатой темной лентой на горизонте, поле в черных и желтых заплатах – все вырисовывалось серо и неясно, точно в тумане. Было семь часов, когда, надев на себя клеенчатый плащ с капюшоном, Бобров вышел из дому. Как многие нервные люди, он чувствовал себя очень нехорошо по утрам: тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль, точно кто-то давил на них сильно снаружи, во рту – неприятный вкус. Но всего больнее действовал на него тот внутренний, душевный разлад, который он примечал в себе с недавнего времени. Товарищи Боброва, инженеры, глядевшие на жизнь с самой несложной, веселой и практической точки зрения, наверно, осмеяли бы то, что причиняло ему столько тайных страданий, и уж во всяком случае не поняли бы его. С каждым днем в нем все больше и больше нарастало отвращение, почти ужас к службе на заводе. По складу его ума, по его привычкам и вкусам ему лучше всего было посвятить себя кабинетным занятиям, профессорской деятельности или сельскому хозяйству. Инженерное дело не удовлетворяло его, и,

если бы не настоятельное желание матери, он оставил бы институт еще на третьем курсе. Его нежная, почти женственная натура жестоко страдала от грубых прикосновений действительности, с ее будничными, но суровыми нуждами. Он сам себя сравнивал в этом отношении с человеком, с которого заживо содрали кожу. Иногда мелочи, не замеченные другими, причиняли ему глубокие и долгие огорчения. Наружность у Боброва была скромная, неяркая… Он был невысок ростом и довольно худ, но в нем чувствовалась нервная, порывистая сила. Большой белый прекрасный лоб прежде всего обращал на себя внимание на его лице. Расширенные и притом неодинаковой величины зрачки были так велики, что глаза вместо серых казались черными. Густые, неровные брови сходились у переносья и придавали этим глазам строгое, пристальное и точно аскетическое выражение. Губы у Андрея Ильича были нервные, тонкие, но не злые, и немного несимметричные: правый угол рта приходился немного выше левого; усы и борода маленькие, жидкие, белесоватые, совсем мальчишеские. Прелесть его в сущности некрасивого лица заключалась только в улыбке. Когда Бобров смеялся, глаза его становились нежными и веселыми, и все лицо делалось привлекательным. Пройдя полверсты, Бобров взобрался на пригорок. Прямо под его ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшегося на пятьдесят квадратных верст. Это был настоящий город из красного кирпича, с лесом высоко торчащих в воздухе закопченных труб, – город, весь пропитанный запахом серы и железного угара, оглушаемый вечным несмолкаемым грохотом. Четыре доменные печи господствовали над заводом своими чудовищными трубами. Рядом с ними возвышалось восемь кауперов, предназначенных для циркуляции нагретого воздуха, – восемь огромных железных башен, увенчанных круглыми куполами. Вокруг доменных печей разбросались другие здания: ремонтные мастерские, литейный двор, промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновские и пудлинговые печи и так далее. Завод спускался вниз тремя громадными природными площадями. Во всех направлениях сновали маленькие паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они с пронзительным свистом летели наверх, исчезали на несколько секунд в туннелях, откуда вырывались, окутанные белым паром, гремели по мостам и, наконец, точно по воздуху, неслись по каменным эстакадам, чтобы сбросить руду и кокс в самую трубу доменной печи. Дальше, за этой природной террасой, глаза разбегались на том хаосе, который представляла собою местность, предназначенная для возведения пятой и шестой доменных печей. Казалось, какой-то страшный подземный

переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня, кирпича разных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плитняка, штабелей железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетились здесь, точно муравьи на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман, в воздухе. Еще дальше, на самом краю горизонта, около длинного товарного поезда толпились рабочие, разгружавшие его. По наклонным доскам, спущенным из вагонов, непрерывным потоком катились на землю кирпичи; со звоном и дребезгом падало железо; летели в воздухе, изгибаясь и пружинясь на лету, тонкие доски. Одни подводы направлялись к поезду порожняком, другие вереницей возвращались оттуда, нагруженные доверху. Тысячи звуков смешивались здесь в длинный скачущий гул: тонкие, чистые и твердые звуки каменщичьих зубил, звонкие удары клепальщиков, чеканящих заклепы на котлах, тяжелый грохот паровых молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и изредка глухие подземные взрывы, заставлявшие дрожать землю. Это была страшная и захватывающая картина. Человеческий труд кипел здесь, как огромный, сложный и точный механизм. Тысячи людей – инженеров, каменщиков, механиков, плотников, слесарей, землекопов, столяров и кузнецов – собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса. Нынешний день Бобров особенно нехорошо себя чувствовал. Иногда, хотя и очень редко – раза три или четыре в год, у него являлось весьма странное, меланхолическое и вместе с тем раздражительное настроение духа. Случалось это обыкновенно в пасмурные осенние утра или по вечерам, во время зимней ростепели. Все в его глазах приобретало скучный и бесцветный вид, человеческие лица казались мутными, некрасивыми или болезненными, слова звучали откуда-то издали, не вызывая ничего, кроме скуки. Особенно раздражали его сегодня, когда он обходил рельсопрокатный цех, бледные, выпачканные углем и высушенные огнем лица рабочих. Глядя на их упорный труд в то время, когда их тела обжигал жар раскаленных железных масс, а из широких дверей дул пронзительный осенний ветер, он сам как будто бы испытывал часть их физических страданий. Ему тогда становилось стыдно и за свой выхоленный вид, и за свое тонкое белье, и за три тысячи своего годового жалованья…

II

Он стоял около сварочной печи, следя за работой. Каждую минуту громадный пылающий зев печи широко раскрывался, чтобы поглощать один за другим двадцатипудовые «пакеты» раскаленной добела стали, только что вышедшие из пламенных печей. Через четверть часа они, протянувшись с страшным грохотом через десятки станков, уже складывались на другом конце мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами. Кто-то тронул Боброва сзади за плечо. Он досадливо обернулся и увидел одного из сослуживцев – Свежевского. Этот Свежевский, с его всегда немного согнутой фигурой, – не то крадущейся, не то кланяющейся, – с его вечным хихиканьем и потираньем холодных, мокрых рук, очень не нравился Боброву. В нем было что-то заискивающее, обиженное и злобное. Он вечно знал раньше всех заводские сплетни и выкладывал их с особенным удовольствием перед тем, кому они были наиболее неприятны; в разговоре же нервно суетился и ежеминутно притрогивался к бокам, плечам, рукам и пуговицам собеседника. – Что это вас, батенька, так давно не видно? – спросил Свежевский; он хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича. – Все сидите и книжки почитываете? Почитываете все? – Здравствуйте, – отозвался нехотя Бобров, отымая руку. – Просто мне нездоровилось это время. – У Зиненко за вами все соскучились, – продолжал многозначительно Свежевский. – Отчего вы у них не бываете? А там третьего дня был директор и о вас справлялся. Разговор зашел как-то о доменных работах, и он о вас отзывался с большой похвалой. – Весьма польщен, – насмешливо поклонился Бобров. – Нет, серьезно… Говорил, что правление вас очень ценит, как инженера, обладающего большими знаниями, и что вы, если бы захотели, могли бы пойти очень далеко. По его мнению, нам вовсе не следовало бы отдавать французам вырабатывать проект завода, если дома есть такие сведущие люди, как Андрей Ильич. Только… «Сейчас что-нибудь неприятное скажет», – подумал Бобров. – Только, говорит, нехорошо, что вы так удаляетесь от общества и производите впечатление замкнутого человека. Никак не поймешь, кто вы такой на самом деле, и не знаешь, как с вами держаться. Ах, да! – вдруг хлопнул себя по лбу Свежевский. – Я вот болтаю, а самое важное позабыл вам сказать… Директор просил всех быть непременно завтра к двенадцатичасовому поезду на вокзале. – Опять будем встречать кого-нибудь? – Совершенно верно. Угадайте, кого? Лицо Свежевского приняло лукавое и торжествующее выражение. Он потирал руки и, по-

видимому, испытывал большое удовольствие, готовясь сообщить интересную новость. – Право, не знаю, кого… Да я и не мастер вовсе угадывать, – сказал Бобров. – Нет, голубчик, отгадайте, пожалуйста… Ну, хоть так, наугад, кого-нибудь назовите… Бобров замолчал и стал с преувеличенным вниманием следить за действиями парового крана. Свежевский заметил это и засуетился еще больше прежнего. – Ни за что не скажете… Ну, да я уже не буду вас больше томить. Ждут самого Квашнина. Фамилию он произнес с таким откровенным подобострастием, что Боброву даже сделалось противно. – Что же вы тут находите особенно важного? – спросил небрежно Андрей Ильич. – Как «что же особенного»? Помилуйте. Ведь он в правлении, что захочет, то и делает: его, как оракула, слушают. Вот и теперь: правление уполномочило его ускорить работы, то есть, иными словами, он сам себя уполномочил к этому. Вы увидите, какие громы и молнии у нас пойдут, когда он приедет. В прошлом году он постройку осматривал – это, кажется, до вас еще было?.. Так директор и четверо инженеров полетели со своих мест к черту. У вас задувка скоро окончится? – Да, уже почти готова. – Ну, это хорошо. При нем, значит, и открытие отпразднуем и начало каменных работ. Вы Квашнина самого встречали когда-нибудь? – Ни разу. Фамилию, конечно, слышал… – А я так имел удовольствие. Это ж, я вам доложу, такой тип, каких больше не увидите. Его весь Петербург знает. Во-первых, так толст, что у него руки на животе не сходятся. Не верите? Честное слово. У него и особая карета такая есть, где вся правая сторона отворяется на шарнирах. При этом огромного роста, рыжий, и голос, как труба иерихонская. Но что за умница! Ах, боже мой!.. Во всех акционерных обществах состоит членом правления… получает двести тысяч всего только за семь заседаний в год! Зато уже, когда на общих собраниях надо спасать ситуацию, – лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчет он так доложит, что акционерам черное белым покажется, и они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное: он никогда и с делом-то вовсе незнаком, о котором говорит, и берет прямо апломбом. Вы завтра послушаете его, так, наверно, подумаете, что он всю жизнь только и делал, что около доменных печей возился, а он в них столько же понимает, сколько я в санскритском языке. – На-ра-ра-ра-рам! – фальшиво и умышленно небрежно запел Бобров, отворачиваясь. – Да вот… на что лучше… Знаете, как он принимает в Петербурге? Сидит голый в ванне по самое горло, только голова его рыжая над водою сияет, – и слушает. А какой-нибудь тайный советник стоит, почтительно перед ним согнувшись, и докладывает… Обжора он

ужасный… и действительно умеет поесть; во всех лучших ресторанах известны битки a la Квашнин. А уж насчет бабья и не говорите. Три года тому назад с ним прекомичный случай вышел… И, видя, что Бобров собирается уйти, Свежевский схватил его за пуговицу и умоляюще зашептал: – Позвольте… это так смешно… позвольте, я сейчас… в двух словах. Видите ли, как дело было. Приезжает осенью, года три тому назад, в Петербург один бедный молодой человек – чиновник, что ли, какой-то… я даже его фамилию знаю, только не могу теперь вспомнить. Хлопочет этот молодой человек о спорном наследстве и каждое утро, возвращаясь из присутственных мест, заходит в Летний сад, посидеть четверть часа на скамеечке… Ну-с, хорошо. Сидит он три дня, четыре, пять и замечает, что ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины… Они знакомятся. Рыжий, который оказывается Квашниным, разузнает от молодого человека все его обстоятельства, принимает в нем участие, жалеет… Однако фамилии ему своей не говорит. Ну-с, хорошо. Наконец однажды рыжий предлагает молодому человеку: «А что, согласились ли бы вы жениться на одной особе, но с уговором – сейчас же после свадьбы с ней разъехаться и больше не видаться?» А молодой человек как раз в это время чуть с голоду не умирал. «Согласен, говорит, только смотря по тому, какое вознаграждение, и деньги вперед». Заметьте, тоже молодой человек знает, с какого конца спаржу едят. Ну-с, хорошо… Сговорились они. Через неделю рыжий одевает молодого человека во фрак и чуть свет везет куда-то за город, в церковь. Народу никого; невеста уже дожидается, вся закутанная в вуаль, однако видно, что хорошенькая и совсем молодая. Начинается венчание. Только молодой человек замечает, что его невеста стоит какая-то печальная. Он ее и спрашивает шепотом: «Вы, кажется, против своей охоты сюда приехали?» А она говорит: «Да и вы, кажется, тоже?» Так они и объяснились между собой. Оказывается, что девушку принудила выйти замуж ее же мать. Прямо-то отдать дочь Квашнину маменьке все-таки мешала совесть… Ну-с, хорошо… Стоят они, стоят… молодой человек-то и говорит: «А давайте-ка удерем такую штуку: оба мы с вами молоды, впереди еще для нас может быть много хорошего, давайте-ка оставим Квашнина на бобах». Девица решительная и с быстрым соображением. «Хорошо, говорит, давайте». Окончилось венчанье, выходят все из церкви, Квашнин так и сияет. А молодой человек даже и деньги с него вперед получил, да и немалые деньги, потому что Квашнин в этих случаях ни за какими капиталами не постоит. Подходит он к молодым и поздравляет с самым ироническим видом. Те слушают его, благодарят,

посаженым папенькой называют, и вдруг оба – прыг в коляску. «Что такое? Куда?» – «Как куда? На вокзал, свадебную поездку совершать. Кучер, пошел!..» Так Василий Терентьевич и остался на месте с разинутым ртом… А то вот однажды… Что это? Вы уже уходите, Андрей Ильич? – прервал свою болтовню Свежевский, видя, что Бобров с решительным видом поправляет на голове шляпу и застегивает пуговицы пальто. – Извините, мне некогда, – сухо ответил Бобров. – А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше где-то слышал или читал… Мое почтение. И, повернувшись спиной к Свежевскому, озадаченному его резкостью, он быстро вышел из мастерской.

III

Вернувшись с завода и наскоро пообедав, Бобров вышел на крыльцо. Кучер Митрофан, еще раньше получивший приказание оседлать Фарватера, гнедую донскую лошадь, с усилием затягивал подпругу английского седла. Фарватер надувал живот и несколько раз быстро изгибал шею, ловя зубами рукав Митрофановой рубашки. Тогда Митрофан кричал на него сердитым и ненатуральным басом: «Но-о! Балуй, идол!» – и прибавлял, кряхтя от напряжения: «Ишь ты, животная». Фарватер – жеребец среднего роста, с массивною грудью, длинным туловищем и поджарым, немного вислым задом – легко и стройно держался на крепких мохнатых ногах, с надежными копытами и тонкой бабкой. Знаток остался бы недоволен его горбоносой мордой и длинной шеей с острым, выдающимся кадыком. Но Бобров находил, что эти особенности, характерные для всякой донской лошади, составляют красоту Фарватера так же, как кривые ноги у таксы и длинные уши у сеттера. Зато во всем заводе не было лошади, которая могла бы обскакать Фарватера. Хотя Митрофан и считал необходимым, как и всякий хороший русский кучер, обращаться с лошадью сурово, отнюдь не позволяя ни себе, ни ей никаких проявлений нежности, и поэтому называл ее и «каторжной», и «падалью», и «убивцею», и даже «хамлетом», тем не менее он в глубине души страстно любил Фарватера. Эта любовь выражалась в том, что донской жеребчик был и вычищен лучше и овса получал больше, чем другие казенные лошади Боброва: Ласточка и Черноморец. – Поил ты его, Митрофан? – спросил Бобров. Митрофан ответил не сразу. У него была и еще одна повадка хорошего кучера – медлительность и степенность в разговоре. – Попоил, Андрей Ильич, как же не попоимши-то. Но, ты, озирайся, леший! Я тебе поверчу морду-то! – крикнул он сердито на лошадь. – Страсть, барин, как ему охота нынче под седлом идти. Не терпится. Едва только Бобров подошел к Фарватеру и, взяв в левую руку поводья, обмотал вокруг пальцев гривку, как началась история, повторявшаяся чуть ли не ежедневно. Фарватер, уже давно косившийся большим сердитым глазом наподходившего Боброва, начал плясать на месте, выгибая шею и разбрасывая задними ногами комья грязи. Бобров прыгал около него на одной ноге, стараясь вдеть ногу в стремя. – Пусти, пусти поводья, Митрофан! – крикнул он, поймав, наконец, стремя, и в тот же момент, перебросив ногу через круп, очутился в седле. Почувствовав шенкеля всадника, Фарватер тотчас же смирился и, переменив несколько раз ногу, фыркая и

мотая головой, взял от ворот широким, упругим галопом… Быстрая езда, холодный ветер, свистевший в уши, свежий запах осеннего, слегка мокрого поля очень скоро успокоили и оживили вялые нервы Боброва. Кроме того, каждый раз, отправляясь к Зиненкам, он испытывал приятный и тревожный подъем духа. Семья Зиненок состояла из отца, матери и пятерых дочерей. Отец служил на заводе и заведовал складом. Этот ленивый и добродушный с виду гигант был в сущности очень пронырливым и каверзным господином. Он принадлежал к числу тех людей, которые под видом высказывания всякому в глаза «истинной правды» грубо, но приятно льстят начальству, откровенно ябедничают на сослуживцев, а с подчиненными обращаются самым безобразно-деспотическим образом. Он спорил из-за всякого пустяка, не слушая возражений и хрипло крича; любил поесть и питал слабость к хоровому малорусскому пению, причем неизменно фальшивил. Он, незаметно для самого себя, находился под башмаком у своей жены – женщины маленького роста, болезненной и жеманной, с крошечными серыми глазками, до смешного близко поставленными к переносью. Дочерей звали: Мака, Бета, Шурочка, Нина и Кася. Каждой из них в семье было отведено свое амплуа. Мака, девица с рыбьим профилем, пользовалась репутацией ангельского характера. «Уж эта Мака – сама простота», – говорили про нее родители, когда она во время прогулок и вечеров стушевывалась на задний план в интересах младших сестер (Маке уже перевалило за тридцать). Бета считалась умницей, носила пенсне и, как говорили, хотела даже когда-то поступить на курсы. Она держала голову склоненной набок и вниз, как старая пристяжная, и ходила ныряющей походкой, то подымаясь, то опускаясь при каждом шаге. К новым гостям она приставала со спорами о том, что женщины лучше и честнее мужчин, или с наивной игривостью просила: «Вы такой проницательный… ну вот, определите мой характер». Когда разговор переходил на одну из классических домашних тем: «Кто выше: Лермонтов или Пушкин?» или: «Способствует ли природа смягчению нравов?» – Бету выдвигали вперед, как боевого слона. Третья дочь, Шурочка, избрала специальностью игру в дурачки со всеми холостыми инженерами по очереди. Как только узнавала она, что ее старый партнер собирается жениться, она, подавляя огорчение и досаду, избирала себе нового. Конечно, игра велась с милыми шутками и маленьким пленительным плутовством, причем партнера называли «противным» и били по рукам картами. Нина считалась в семье общей любимицей, избалованным, но прелестным ребенком. Она была выродком среди своих сестер с их массивными фигурами и грубоватыми,

вульгарными лицами. Может быть, одна только madame Зиненко могла бы удовлетворительно объяснить, откуда у Ниночки взялась эта нежная, хрупкая фигурка, эти почти аристократические руки, хорошенькое смугловатое личико, все в родинках, маленькие розовые уши и пышные, тонкие, слегка вьющиеся волосы. На нее родители возлагали большие надежды, и ей поэтому разрешалось все: и объедаться конфетами, и мило картавить, и даже одеваться лучше сестер. Самой младшей, Касе, исполнилось недавно четырнадцать лет, но этот феноменальный ребенок перерос на целую голову свою мать, далеко превзойдя старших сестер могучей рельефностью форм. Ее фигура давно уже вызывала пристальные взоры заводской молодежи, совершенно лишенной, по отдаленности от города, женского общества, и Кася принимала эти взоры с наивным бесстыдством рано созревшей девочки. Это разделение семейных прелестей было хорошо известно на заводе, и один шутник сказал как-то, что если уж жениться на Зиненках, то непременно на всех пятерых сразу. Инженеры и студенты-практиканты глядели на дом Зиненко, как на гостиницу, толклись там с утра до ночи, много ели, еще больше пили, но с удивительной ловкостью избегали брачных сетей. В этой семье Боброва недолюбливали. Мещанские вкусы madame Зиненко, стремившейся все подвести под линию пошлого и благополучно скучного провинциального приличия, оскорблялись поведением Андрея Ильича. Его желчные остроты, когда он бывал в духе, встречались с широко раскрытыми глазами, и, наоборот, когда он молчал целыми вечерами, вследствие усталости и раздражения, его подозревали в скрытности, в гордости, в молчаливом иронизировании, даже – о! это было всего ужаснее! – даже подозревали, что он «пишет в журналы повести и собирает для них типы». Бобров чувствовал эту глухую вражду, выражавшуюся в небрежности за столом, в удивленном пожимании плечей матери семейства, но все-таки продолжал бывать у Зиненок. Любил ли он Нину? На это он сам не мог бы ответить. Когда он трое или четверо суток не бывал в их доме, воспоминание о ней заставляло его сердце биться со сладкой и тревожной грустью. Он представлял себе ее стройную, грациозную фигурку, улыбку ее томных, окруженных тенью глаз и запах ее тела, напоминавший ему почему-то запах молодых клейких почек тополя. Но стоило ему побывать у Зиненок три вечера подряд, как его начинало томить их общество, их фразы, – всегда одни и те же в одинаковых случаях, – шаблонные и неестественные выражения их лиц. Между пятью «барышнями» и «ухаживавшими» за ними «кавалерами» (слова зиненковского обихода) раз навсегда установились пошло-игривые отношения. И

те и другие делали вид, будто они составляют два враждующих лагеря. То и дело один из кавалеров, шутя, похищал у барышни какую-нибудь вещь и уверял, что не отдаст ее; барышни дулись, шептались между собой, называли шутника «противным» и все время хохотали деревянным, громким, неприятным хохотом. И это повторялось ежедневно, сегодня совершенно в тех же словах и с теми же жестами, как вчера. Бобров возвращался от Зиненок с головной болью и с нервами, утомленными их провинциальным ломаньем. Таким образом, в душе Боброва чередовалась тоска по Нине, по нервному пожатию ее всегда горячих рук, с отвращением к скуке и манерности ее семьи. Бывали минуты, когда он уже совершенно готовился сделать ей предложение. Тогда его не остановило бы даже сознание, что она, с ее кокетством дурного тона и душевной пустотой, устроит из семейной жизни ад, что он и она думают и говорят на разных языках. Но он не решался и молчал. Теперь, подъезжая к Шепетовке, он уже заранее знал, что́ и как там будут говорить в том или другом случае, даже представлял себе выражение лиц. Он знал, что когда с их террасы увидят его верхом на лошади, то сначала между барышнями, всегда находящимися в ожидании «приятных кавалеров», подымется длинный спор о том, кто это едет. Когда же он приблизится, то угадавшая начнет подпрыгивать, бить в ладоши, прищелкивать языком и задорно выкрикивать: «А что? А что? Я угадала, я угадала!» Вслед за тем она побежит к Анне Афанасьевне: «Мама, Бобров едет, я первая угадала!» А мама, лениво перетирая чайные чашки, обратится к Нине – непременно к Нине – таким тоном, как будто бы она передает что-то смешное и неожиданное: «Ниночка, знаешь, Бобров едет». И уже после этого все они вместе чрезвычайно и очень громко изумятся, увидя входящего Андрея Ильича.

IV

Фарватер шел, звучно фыркая и попрашивая поводьев. Вдали показался дом Шепетовской экономии. Из густой зелени сиреней и акаций едва виднелись его белые стены и красная крыша. Под горой небольшой пруд выпукло подымался из окружавших его зеленых берегов. На крыльце стояла женская фигура. Бобров издали узнал в ней Нину по ярко-желтой кофточке, так красиво оттенявшей смуглый цвет ее лица, и тотчас же, подтянув Фарватеру поводья, выпрямился и высвободил носки ног, далеко залезшие в стремена. – Вы опять на своем сокровище приехали? Ну вот, просто видеть не могу этого урода! – крикнула с крыльца Нина веселым и капризным голосом избалованного ребенка. У нее уже давно вошло в привычку дразнить Боброва его лошадью, к которой он был так привязан. Вообще в доме Зиненок вечно кого-нибудь и чем-нибудь дразнили. Бросив поводья подбежавшему заводскому конюху, Бобров похлопал крутую, потемневшую от пота шею лошади и вошел вслед за Ниной в гостиную. Анна Афанасьевна, сидевшая за самоваром, сделала вид, будто необычайно поражена приездом Боброва. – А-а-а! Андрей Ильич! Наконец-то вы к нам пожаловали!.. – воскликнула она нараспев. И ткнув ему руку прямо в губы, когда он здоровался с ней, она своим громким носовым голосом спросила: – Чаю? Молока? Яблоков? Говорите, чего хотите. – Merci, Анна Афанасьевна. – Merci – oui, oumerci – non? Подобные французские фразы были неизменны в семье Зиненко. Бобров отказался от всего. – Ну, так идите на террасу, там молодежь затеяла какие-то фанты, что ли, – милостиво разрешила madame Зиненко. Когда он вышел на балкон, все четыре барышни разом, совершенно тем же тоном и так же в нос, как их маменька, воскликнули: – А-а-а! Андрей Ильич! Вот уж кого давно-то не было видно! Чего вам принести? Чаю? Яблоков? Молока? Не хотите? Нет, правда? А может быть, хотите? Ну, в таком случае садитесь здесь и принимайте участие. Играли в «барыня прислала сто рублей», в «мнения» и еще в какую-то игру, которую шепелявая Кася называла «играть в пошуду». Из гостей были: три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука; был техник Миллер, отличавшийся красотою, глупостью и чудесным баритоном, и, наконец, какой-то молчаливый господин в сером, не обращавший на себя ничьего внимания. Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительным и скучающим видом; девицы вовсе от них

отказывались, перешептывались и напряженно хохотали. Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна. – Дети, идите в комнаты! – крикнула из столовой Анна Афанасьевна. – Попросите Миллера, чтобы он нам спел что-нибудь. Через минуту голоса барышень уже слышались в комнатах. – Нам было очень весело, – щебетали они вокруг матери, – мы так смеялись, так смеялись… На балконе остались только Нина и Бобров. Она сидела на перилах, обхвативши столб левой рукой и прижавшись к нему в бессознательно грациозной позе. Бобров поместился на низкой садовой скамеечке у самых ее ног и снизу вверх, заглядывая ей в лицо, видел нежные очертания ее шеи и подбородка. – Ну, расскажите же что-нибудь интересное, Андрей Ильич, – нетерпеливо приказала Нина. – Право, я не знаю, что бы вам рассказать, – возразил Бобров. – Ужасно трудно говорить по заказу. Я и то уж думаю: нет ли такого разговорного сборника, на разные темы… – Фу-у! Какой вы ску-учный, – протянула Нина. – Скажите, когда вы бываете в духе? – А вы мне скажите, почему вы так боитесь молчания? Чуть разговор немножко иссяк, вам уже и не по себе… А разве дурно разговаривать молча? – «Мы будем с тобой молчали-ивы…» – пропела насмешливо Нина. – Конечно, будем молчаливы. Посмотрите: небо ясное, луна рыжая, большущая, на балконе так тихо… Чего же еще?.. – «И эта глупая луна на этом глупом небосклоне», – продекламировала Нина. A propos, вы слышали, что Зиночка Маркова выходит замуж за Протопопова? Выходит-таки! Удивительный человек этот Протопопов. – Она пожала плечами. – Три раза ему Зина отказывала, и он все-таки не мог успокоиться, сделал в четвертый раз предложение. И пускай на себя пеняет. Она его, может быть, будет уважать, но любить – никогда! Этих слов было достаточно, чтобы расшевелить желчь в душе Боброва. Его всегда выводил из себя узкий, мещанский словарь Зиненок, с выражениями вроде: «Она его любит, но не уважает», «Она его уважает, но не любит». Этими словами в их понятиях исчерпывались самые сложные отношения между мужчиной и женщиной, точно так же, как для определения нравственных, умственных и физических особенностей любой личности у них существовало только два выражения: «брюнет» и «блондин». И Бобров, из смутного желания разбередить свою злобу, спросил: – Что же такое представляет собою этот Протопопов? – Протопопов? – задумалась на секунду Нина. – Он… как бы вам сказать… довольно высокого роста… шатен!.. – И больше ничего? – Чего же еще? Ах, да: служит в акцизе… – И только? Да неужели, Нина Григорьевна, у вас для характеристики человека не найдется ничего, кроме того, что он шатен и служит в

акцизе! Подумайте: сколько в жизни встречается нам интересных, талантливых и умных людей. Неужели все это только «шатены» и «акцизные чиновники»? Посмотрите, с каким жадным любопытством наблюдают жизнь крестьянские дети и как они метки в своих суждениях. А вы, умная и чуткая девушка, проходите мимо всего равнодушно, потому что у вас есть в запасе десяток шаблонных, комнатных фраз. Я знаю, если кто-нибудь упомянет в разговоре про луну, вы сейчас же вставите: «Как эта глупая луна», и так далее. Если я расскажу, положим, какой-нибудь выходящий из ряда обыкновенных случай, я наперед знаю, что вы заметите: «Свежо предание, а верится с трудом». И так во всем, во всем… Поверьте мне, ради бога, что все самобытное, своеобразное… – Я вас прошу не читать мне нравоучений! – отозвалась резко Нина. Он замолчал с ощущением горечи во рту, и они оба сидели минут пять тихо и не шевелясь. Вдруг из гостиной послышались звучные аккорды, и немного тронутый, но полный глубокого выражения голос Миллера запел:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Озлобленное настроение Боброва быстро улеглось, и он жалел теперь, что огорчил Нину. «Для чего вздумал я требовать от ее наивного, свежего, детского ума оригинальной смелости? – думал он. – Ведь она, как птичка: щебечет первое, что ей приходит в голову, и, почем знать, может быть, это щебетанье даже гораздо лучше, чем разговоры об эмансипации, и о Ницше, и о декадентах?» – Нина Григорьевна, не сердитесь на меня. Я увлекся и наговорил глупостей, – сказал он вполголоса. Нина молчала, отвернувшись от него и глядя на восходившую луну. Он отыскал в темноте ее свесившуюся руку и, нежно пожав ее, прошептал: – Нина Григорьевна… Пожалуйста… Нина вдруг быстро повернулась к нему и, ответив на его пожатие быстрым, нервным пожатием, воскликнула тоном прощения и упрека: – Злючка! Всегда вы меня обижаете… пользуетесь тем, что я на вас не умею сердиться!.. И, оттолкнув его внезапно задрожавшую руку, почти вырвавшись от него, она перебежала балкон и скрылась в дверях.

…И в грезах неведомых сплю…
Люблю ли тебя – я не знаю,

Но кажется мне, что люблю… –

пел со страстным и тоскливым выражением Миллер. «Но кажется мне, что люблю!» – повторил взволнованным шепотом Бобров, глубоко переводя дух и прижимая руку к забившемуся сердцу. «Зачем же, – растроганно думал он, – утомляю я себя бесплодными мечтами о каком-то неведомом, возвышенном счастье, когда здесь, около меня, – простое, но глубокое счастье? Чего же еще нужно от женщины, от жены, если в ней столько нежности, кротости, изящества и внимания? Мы, бедные, нервные, больные люди, не умеем брать просто от жизни ее радостей, мы их нарочно отравляем ядом нашей неутомимой потребности копаться в каждом чувстве, в каждом своем и чужом помышлении… Тихая ночь, близость любимой девушки, милые, незатейливые речи, минутная вспышка гнева и потом внезапная ласка – господи! Разве не в этом вся прелесть существования?» Он вошел в гостиную повеселевший, бодрый, почти торжествующий. Глаза его встретились с глазами Нины, и в ее долгом взоре он прочел нежный ответ на свои мысли. «Она будет моей женой», – подумал Бобров, ощущая в душе спокойную радость. Разговор шел о Квашнине. Анна Афанасьевна, наполняя своим уверенным голосом всю комнату, говорила, что она думает завтра тоже повести «своих девочек» на вокзал. – Очень может быть, что Василий Терентьевич захочет сделать нам визит. По крайней мере о его приезде мне еще за месяц писала племянница мужа моей двоюродной сестры – Лиза Белоконская… – Это кажется, та Белоконская, брат которой женат на княжне Муховецкой? – покорно вставил заученную реплику господин Зиненко. – Ну да, та самая, – снисходительно кивнула в его сторону головой Анна Афанасьевна. – Она еще приходится дальней родней по бабушке Стремоуховым, которых ты знаешь. И вот Лиза Белоконская писала мне, что встретилась в одном обществе с Василием Терентьевичем и рекомендовала ему побывать у нас, если ему вообще вздумается ехать когда-нибудь на завод. – Сумеем ли мы принять, Нюся? – спросил озабоченно Зиненко. – Как ты смешно говоришь! Мы сделаем, что можем. Ведь уж во всяком случае мы не удивим ничем человека, который имеет триста тысяч годового дохода. – Господи! Триста тысяч! – простонал Зиненко. – Просто страшно подумать. – Триста тысяч! – вздохнула, точно эхо, Нина. – Триста тысяч! – воскликнули восторженно хором девицы. – Да, и все это он проживает до копеечки, – сказала Анна Афанасьевна. Затем, отвечая на невысказанную мысль дочерей,

она прибавила: – Женатый человек. Только, говорят, очень неудачно женился. Его жена какая-то бесцветная личность и совсем не представительна. Что ни говорите, а жена должна быть вывеской в делах мужа. – Триста тысяч! – повторила еще раз, точно в бреду, Нина. – Чего только на эти деньги не сделаешь!.. Анна Афанасьевна провела рукой по ее пышным волосам. – Вот бы тебе такого мужа, деточка. А? Эти триста тысяч чужого годового дохода точно наэлектризовали все общество. С блестящими глазами и разгоревшимися лицами рассказывались и слушались анекдоты о жизни миллионеров, рассказы о баснословных меню обедов, о великолепных лошадях, о балах и исторически безумных тратах денег. Сердце Боброва похолодело и до боли сжалось. Он тихонько отыскал свою шляпу и осторожно вышел на крыльцо. Его ухода, впрочем, и так никто бы не заметил. И когда он крупною рысью ехал домой и представил себе томные, мечтательные глаза Нины, шептавшей почти в забытьи: «Триста тысяч!» – ему вдруг припомнился утренний анекдот Свежевского. – Эта… тоже сумеет себя продать! – прошептал он, судорожно стиснув зубы и с бешенством ударив Фарватера хлыстом по шее.

V

Подъезжая к своей квартире, Бобров заметил свет в окнах. «Должно быть, без меня приехал доктор и теперь валяется на диване в ожидании моего приезда», – подумал он, сдерживая взмыленную лошадь. В теперешнем настроении Боброва доктор Гольдберг был единственным человеком, присутствие которого он мог перенести без болезненного раздражения. Он любил искренно этого беспечного, кроткого еврея за его разносторонний ум, юношескую живость характера и добродушную страсть к спорам отвлеченного свойства. Какой бы вопрос ни затрогивал Бобров, доктор Гольдберг возражал ему с одинаковым интересом к делу и с неизменной горячностью. И хотя между обоими в их бесконечных спорах до сих пор возникали только противоречия, тем не менее они скучали друг без друга и виделись чуть не ежедневно. Доктор действительно лежал на диване, закинув ноги на его спинку, и читал какую-то брошюру, держа ее вплотную у своих близоруких глаз. Быстро скользнув взглядом по корешку, Бобров узнал «Учебный курс металлургии» Мевиуса и улыбнулся. Он хорошо знал привычку доктора читать с одинаковым увлечением, и непременно из середины, все, что только попадалось ему под руку. – А я без вас распорядился чайком, – сказал доктор, отбросив в сторону книгу и глядя поверх очков на Боброва. – Ну, как попрыгиваете, государь мой Андрей Ильич? У-у, да какой же вы сердитый. Что? Опять веселая меланхолия? – Ах, доктор, скверно на свете жить, – сказал устало Бобров. – Отчего же так, голубчик? – Да так… вообще… все скверно. Ну как, доктор, ваша больница? – Наша больница ничего… живет. Сегодня очень интересный хирургический случай был. Ей-богу, и смешно и трогательно. Представьте себе, приходит на утренний осмотр парень, из масальских каменщиков. Эти масальские ребята, какого ни возьми, все, как на подбор, богатыри. «Что тебе?» – спрашиваю. «Да вот, господин дохтур, резал я хлеб для артели, так палец маненечкопопортил, руду никак не уймешь». Осмотрел я его руку: так себе, царапинка, пустяки, но нагноилась немного; я приказал фельдшеру положить пластырь. Только вижу, парень мой не уходит. «Ну, чего тебе еще надо? Заклеили тебе руку, и ступай». – «Это верно, говорит, заклеили, дай бог тебе здоровья, а только вот што, этто башка у меня трешшыть, так думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь». – «Что же у тебя с башкой? Треснул кто-нибудь, верно?» Парень так и обрадовался, загоготал. «Есть, говорит, тот грех. Ономнясь, наСпаса (это, значит, дня три тому назад), загуляли мы артелью

да вина выпили ведра полтора, ну, ребята и зачали баловать промеж себя… Ну, и я тоже. А опосля… в драке-то нешто разберешься?.. ка-ак он меня зубилом саданул по балде… починил, стало быть… Сначала-то оно ничего было, не больно, а вот теперь трешшыть башка-то». Стал я осматривать «балду», и что же вы думаете? – прямо в ужас пришел! Череп проломлен насквозь, дыра с пятак медный будет величиною, и обломки кости в мозг врезались… Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительный, я вам скажу, народец: младенцы и герои в одно и то же время. Ей-богу, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды. Другой, не сходя с места, испустил бы дух. И потом, какое наивное незлобие: «В драке нешто разберешь?..» Черт знает что такое! Бобров ходил взад и вперед по комнате, щелкал хлыстом по голенищам высоких сапог и рассеянно слушал доктора. Горечь, осевшая ему на душу еще у Зиненок, до сих пор не могла успокоиться. Доктор помолчал немного и, видя, что его собеседник не расположен к разговору, сказал с участием: – Знаете что, Андрей Ильич? Попробуемте-ка на минуточку лечь спать да хватим на ночь ложечку-другую брому. Оно полезно в вашем настроении, а вреда все равно никакого не будет… Они оба легли в одной комнате: Бобров на кровати, доктор на том же диване. Но и тому и другому не спалось. Гольдберг долго слушал в темноте, как ворочался с боку на бок и вздыхал Бобров, и, наконец, заговорил первый: – Ну, что вы, голубчик? Ну, что терзаетесь? Уж говорите лучше прямо, что такое там в вас засело? Все легче будет. Чай, все-таки не чужой я вам человек, не из праздного любопытства спрашиваю. Эти простые слова тронули Боброва. Хотя его и связывали с доктором почти дружеские отношения, однако ни один из них до сих пор ни словом не подтвердил этого вслух: оба были люди чуткие и боялись колючего стыда взаимных признаний. Доктор первый открыл свое сердце. Ночная темнота и жалость к Андрею Ильичу помогли этому. – Все мне тяжело и гадко, Осип Осипович, – отозвался тихо Бобров. – Первое, мне гадко то, что я служу на заводе и получаю за это большие деньги, а мне это заводское дело противно и противно! Я считаю себя честным человеком и потому прямо себя спрашиваю: «Что ты делаешь? Кому ты приносишь пользу?» Я начинаю разбираться в этих вопросах и вижу, что благодаря моим трудам сотня французских лавочников-рантье и десяток ловких русских пройдох со временем положат в карман миллионы. А другой цели, другого смысла нет в том труде, на подготовку к которому я убил лучшую половину жизни!.. – Ну, уж это даже смешно, Андрей Ильич, – возразил доктор, повернувшись в темноте лицом к Боброву. – Вы

требуете, чтобы какие-то буржуи прониклись интересами гуманности. С тех пор, голубчик, как мир стоит, все вперед движется брюхом, иначе не было и не будет. Но суть-то в том, что вам наплевать на буржуев, потому что вы гораздо выше их. Неужели с вас не довольно мужественного и гордого сознания, что вы толкаете вперед, выражаясь языком передовых статей, «колесницу прогресса»? Черт возьми! Акции пароходных обществ приносят колоссальные дивиденды, но разве это мешает Фультону считаться благодетелем человечества? – Ах, доктор, доктор! – Бобров досадливо поморщился. – Вы не были, кажется, сегодня у Зиненок, а вашими устами вдруг заговорила их житейская мудрость. Слава богу, мне не придется ходить далеко за возражениями, потому что я сейчас разобью вас вашей же возлюбленной теорией. – То есть какой это теорией?.. Позвольте… я что-то не помню никакой теории… право, голубчик, не помню… забыл что-то… – Забыли? А кто здесь же, на этом самом диване, с пеной у рта кричал, что мы, инженеры и изобретатели, своими открытиями ускоряем пульс общественной жизни до горячечной скорости? Кто сравнивал эту жизнь с состоянием животного, заключенного в банку с кислородом? О, я отлично помню, какой страшный перечень детей двадцатого века, неврастеников, сумасшедших, переутомленных, самоубийц, кидали вы в глаза этим самым благодетелям рода человеческого. Телеграф, телефон, стодвадцативерстные поезда, говорили вы, сократили расстояние до minimum'a, – уничтожили его… Время вздорожало до того, что скоро начнут ночь превращать в день, ибо уже чувствуется потребность в такой удвоенной жизни. Сделка, требовавшая раньше целых месяцев, теперь оканчивается в пять минут. Но уж и эта чертовская скорость не удовлетворяет нашему нетерпению… Скоро мы будем видеть друг друга по проволоке на расстоянии сотен и тысяч верст!.. А между тем всего пятьдесят лет тому назад наши предки, собираясь из деревни в губернию, не спеша служили молебен и пускались в путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции… И мы несемся сломя голову вперед и вперед, оглушенные грохотом и треском чудовищных машин, одуревшие от этой бешеной скачки, с раздраженными нервами, извращенными вкусами и тысячами новых болезней… Помните, доктор? Все это ваши собственные слова, поборник благодетельного прогресса! Доктор, уже несколько раз тщетно пытавшийся возразить, воспользовался минутной передышкой Боброва. – Ну да, ну да, голубчик, все это я говорил, – заторопился он не совсем, однако, уверенно. – Я и теперь это утверждаю. Но надо же, голубчик, так сказать, приспособляться. Как же жить-то иначе? Во всякой профессии

есть эти скользкие пунктики. Вот взять хоть нас, например, докторов… Вы думаете, у нас все это так ясно и хорошо, как в книжечке? Да ведь мы дальше хирургии ничего ровнешенько не знаем наверняка. Мы выдумываем новые лекарства и системы, но совершенно забываем, что из тысячи организмов нет двух, хоть сколько-нибудь похожих составом крови, деятельностью сердца, условиями наследственности и черт знает чем еще! Мы удалились от единого верного терапевтического пути – от медицины зверей и знахарок, мы наводнили фармакопею разными кокаинами, атропинами, фенацетинами, но мы упустили из виду, что если простому человеку дать чистой воды да уверить его хорошенько, что это сильное лекарство, то простой человек выздоровеет. А между тем в девяноста случаях из ста в нашей практике помогает только эта уверенность, внушаемая нашим профессиональным жреческим апломбом. Поверите ли? Один хороший врач, и в то же время умный и честный человек, признавался мне, что охотники лечат собак гораздо рациональнее, чем мы людей. Там одно средство – серный цвет, – вреда особенного он не принесет, а иногда все-таки и помогает… Не правда ли, голубчик, приятная картинка? А, однако, и мы делаем, что можем… Нельзя, мой дорогой, иначе: жизнь требует компромиссов… Иной раз хоть своим видом всезнающего авгура, а все-таки облегчишь страдания ближнего. И на том спасибо. – Да, компромиссы – компромиссами, – возразил мрачным тоном Бобров, – а, однако, вы у Масальского каменщика кости из черепа-то сегодня извлекли… – Ах, голубчик, что значит один исправленный череп? Подумайте-ка, сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу. Еще в истории Иловайского сказано, что «царь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий». Что-то в этом роде… Вот вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы… При последних словах Боброва точно подбросило на кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги. – Пользы?! – закричал он исступленно. – Вы мне говорите о пользе? В таком случае уж если подводить итоги пользе и вреду, то, позвольте, я вам приведу маленькую страничку из статистики. – И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры: – Давно известно, что работа в рудниках, шахтах, на металлических заводах и на больших фабриках сокращает жизнь рабочего приблизительно на целую четверть. Я не говорю уже о несчастных случаях или непосильном труде. Вам, как врачу, гораздо лучше моего известно, какой процент приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовищных условий прозябания в этих проклятых бараках и землянках… Постойте, доктор, прежде

чем возражать, вспомните, много ли вы видели на фабриках рабочих старее сорока – сорока пяти лет? Я положительно не встречал. Иными словами, это значит, что рабочий отдает предпринимателю три месяца своей жизни в год, неделю – в месяц или, короче, *шесть* часов в день… Теперь слушайте дальше… У нас, при шести домнах, будет занято до тридцати тысяч человек, – царю Борису, верно, и не снились такие цифры! Тридцать тысяч человек, которые все вместе, так сказать, сжигают в сутки сто восемьдесят тысяч часов своей собственной жизни, то есть семь с половиной тысяч дней, то есть, наконец, сколько же это будет лет? – Около двадцати лет, – подсказал после небольшого молчания доктор. – Около двадцати лет в сутки! – закричал Бобров. – Двое суток работы пожирают целого человека. Черт возьми! Вы помните из библии, что какие-то там ассирияне или моавитяне приносили своим богам человеческие жертвы? Но ведь эти медные господа, Молох и Дагон, покраснели бы от стыда и от обиды перед теми цифрами, что я сейчас привел… Эта своеобразная математика только что пришла в голову Боброву (он, как и многие очень впечатлительные люди, находил новые мысли только среди разговора). Тем не менее и его самого и Гольдберга поразила оригинальность вычисления. – Черт возьми, вы меня ошеломили, – отозвался с дивана доктор. – Хотя цифры могут быть и не совсем точными… – А известна ли вам, – продолжал с еще большей горячностью Бобров, – известна ли вам другая статистическая таблица, по которой вы с чертовской точностью можете вычислить, во сколько человеческих жизней обойдется каждый шаг вперед вашей дьявольской колесницы, каждое изобретение какой-нибудь поганой веялки, сеялки или рельсопрокатки? Хороша, нечего сказать, ваша цивилизация, если ее плоды исчисляются цифрами, где в виде единиц стоит железная машина, а в виде нулей – целый ряд человеческих существований! – Но, послушайте, голубчик вы мой, – возразил доктор, сбитый с толку пылкостью Боброва, – тогда, по-вашему, лучше будет возвратиться к первобытному труду, что ли? Зачем же вы все черные стороны берете? Ведь вот у нас, несмотря на вашу математику, и школа есть при заводе, и церковь, и больница хорошая, и общество дешевого кредита для рабочих… Бобров совсем вскочил с постели и босой забегал по комнате. – И больница ваша и школа – все это пустяки! Цаца детская для таких гуманистов, как вы, – уступка общественному мнению… Если хотите, я вам скажу, как мы на самом деле смотрим… Вы знаете, что такое финиш? – Финиш? Это что-то лошадиное, кажется? Что-то такое на скачках? – Да, на скачках. Финишем называются последние сто сажен перед верстовым столбом. Лошадь должна

их проскакать с наибольшей скоростью, – за столбом она может хоть издохнуть. Финиш – это полнейшее, максимальное напряжение сил, и, чтобы выжать из лошади финиш, ее истязают хлыстом до крови… Так вот и мы. А когда финиш выжат и кляча упала с переломленной спиной и разбитыми ногами, – к черту ее, она больше никуда не годится! Вот тогда и извольте утешать павшую на финише клячу вашими школами да больницами… Вы видели ли когда-нибудь, доктор, литейное и прокатное дело? Если видали, то вы должны знать, что оно требует адской крепости нервов, стальных мускулов и ловкости циркового артиста… Вы должны знать, что каждый мастер несколько раз в день избегает смертельной опасности только благодаря удивительному присутствию духа… И сколько за этот труд рабочий получает, хотите вы знать? – А все-таки, пока стоит завод, труд этого рабочего обеспечен, – сказал упрямо Гольдберг. – Доктор, не говорите наивных вещей! – воскликнул Бобров, садясь на подоконник. – Теперь рабочий более чем когда-либо зависит от рыночного спроса, от биржевой игры, от разных закулисных интриг. Каждое громадное предприятие, прежде чем оно пойдет в ход, насчитывает трех или четырех покойников-патронов. Вам известно, как создалось наше общество? Его основала за наличные деньги небольшая компания капиталистов. Дело предполагалось устроить сначала в небольших размерах. Но целая банда инженеров, директоров и подрядчиков ухнула капитал так скоро, что предприниматели не успели и оглянуться. Возводились громадные постройки, которые потом оказывались негодными… Капитальные здания шли, как у нас говорят, «на мясо», то есть рвались динамитом. И когда в конце концов предприятие пошло по десять копеек за рубль, только тогда стало понятно, что вся эта сволочь действовала по заранее обдуманной системе и получала за свой подлый образ действий определенное жалованье от другой, более богатой и ловкой компании. Теперь дело идет в гораздо больших размерах, но мне хорошо известно, что при крахе первого покойника восемьсот рабочих не получили двухмесячного жалованья. Вот вам и обеспеченный труд! Да стоит только акциям упасть на бирже, как это сейчас же отражается на заработной плате. А вам, я думаю, известно, как поднимаются и падают на бирже акции? Для этого нужно мне приехать в Петербург – шепнуть маклеру, что вот, мол, хочу я продать тысяч на триста акций, «только, мол, ради бога, это между нами, уж лучше я вам заплачу хороший куртаж, только молчите…» Потом другому и третьему шепнуть то же самое по секрету, и акции мгновенно падают на несколько десятков рублей. И чем больше секрет, тем скорее и вернее упадут акции… Хороша

обеспеченность!.. Сильным движением руки Бобров разом распахнул окно. В комнату ворвался холодный воздух. – Посмотрите, посмотрите сюда, доктор! – крикнул Андрей Ильич, показывая пальцем по направлению завода. Гольдберг приподнялся на локте и устремил глаза в ночную темноту, глядевшую из окна. На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдали, рдели разбросанные в бесчисленном множестве кучи раскаленного известняка, на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые и зеленые серные огни… Это горели известковые печи. Над заводом стояло огромное красное колеблющееся зарево. На его кровавом фоне стройно и четко рисовались темные верхушки высоких труб, между тем как нижние части их расплывались в сером тумане, шедшем от земли. Разверстые пасти этих великанов безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смешивались в одну сплошную, хаотическую, медленно ползущую на восток тучу, местами белую, как комья ваты, местами грязно-серую, местами желтоватого цвета железной ржавчины. Над тонкими, длинными дымоотводами, придавая им вид исполинских факелов, трепетали и метались яркие снопы горящего газа. От их неверного отблеска нависшая над заводом дымная туча, то вспыхивая, то потухая, принимала странные и грозные оттенки. Время от времени, когда, по резкому звону сигнального молотка, опускался вниз колпак доменной печи, из ее устья с ревом, подобным отдаленному грому, вырывалась к самому небу целая буря пламени и копоти. Тогда на несколько мгновений весь завод резко и страшно выступал из мрака, а тесный ряд черных круглых кауперов казался башнями легендарного железного замка. Огни коксовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался, точно огромный красный глаз. Электрические огни примешивали к пурпуровому свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск… Несмолкаемый лязг и грохот железа несся оттуда. От зарева заводских огней лицо Боброва приняло в темноте зловещий медный оттенок, в глазах блестели яркие красные блики, спутавшиеся волосы упали беспорядочно на лоб. И голос его звучал пронзительно и злобно. – Вот он – Молох, требующий теплой человеческой крови! – кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку. – О, конечно, здесь прогресс, машинный труд, успехи культуры… Но подумайте же, ради бога, – двадцать лет! Двадцать лет человеческой жизни в сутки!.. Клянусь вам, – бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей!.. «Господи! Да ведь он – сумасшедший», – подумал доктор, у которого по спине

забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва. – Голубчик, Андрей Ильич, да оставьте же, мой милый, ну что за охота из-за глупостей расстраиваться. Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость… Ложитесь, да нате-ка вам бромку. «Маниак, совершенный маниак», – думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом. Бобров слабо сопротивлялся, обессиленный только что миновавшей вспышкой. Но когда он лег в постель, то внезапно разразился истерическими рыданиями. И долго доктор сидел возле него, гладя его по голове, как ребенка, и говоря ему первые попавшиеся ласковые, успокоительные слова.

VI

На другой день состоялась торжественная встреча Василия Терентьевича Квашнина на станции Иванково. Уж к одиннадцати часам все заводское управление съехалось туда. Кажется, никто не чувствовал себя спокойным. Директор – Сергей Валерьянович Шелковников – пил стакан за стаканом зельтерскую воду, поминутно вытаскивал часы и, не успев взглянуть на циферблат, тотчас же машинально прятал их в карман. Только это рассеянное движение и выдавало его беспокойство. Лицо же директора – красивое, холеное, самоуверенное лицо светского человека – оставалось неподвижным. Лишь весьма немногие знали, что Шелковников только официально, так оказать на бумаге, числился директором постройки. Всеми делами в сущности ворочал бельгийский инженер Андреа́, полуполяк, полушвед по национальности, роли которого на заводе никак не могли понять непосвященные. Кабинеты обоих директоров были расположены рядом и соединены дверью. Шелковников не смел положить резолюции ни на одной важной бумаге, не справившись сначала с условным знаком, сделанным карандашом где-нибудь на уголке страницы рукою Андреа. В экстренных же случаях, исключавших возможность совещания, Шелковников принимал озабоченный вид и говорил просителю небрежным тоном: – Извините… положительно не могу уделить вам ни минуты… завален по горло… Будьте добры изъяснить ваше дело господину Андреа, а он мне потом изложит его отдельной запиской. Заслуги Андреа перед правлением были неисчислимы. Из его головы целиком вышел гениально-мошеннический проект разорения первой компании предпринимателей, и его же твердая, но незримая рука довела интригу до конца. Его проекты, отличавшиеся изумительной простотой и стройностью, считались в то же время последним словом горнозаводской науки. Он владел всеми европейскими языками и – редкое явление среди инженеров – обладал, кроме своей специальности, самыми разнообразными знаниями. Изо всех собравшихся на станции только один этот человек, с чахоточной фигурой и лицом старой обезьяны, сохранял свою обычную невозмутимость. Он приехал позднее всех и теперь медленно ходил взад и вперед по платформе, засунув руки по локоть в карманы широких, обвисших брюк и пожевывая свою вечную сигару. Его светлые глаза, за которыми чувствовался большой ум ученого и сильная воля авантюриста, как и всегда, неподвижно и равнодушно глядели из-под опухших, усталых век. Приезду семейства Зиненок никто не удивился. Их

почему-то все давно привыкли считать неотъемлемой принадлежностью заводской жизни. Девицы внесли с собой в мрачную залу станции, где было и холодно и скучно, свое натянутое оживление и ненатуральный хохот. Их окружили утомившиеся долгим ожиданием инженеры помоложе. Девицы, тотчас же приняв обычное оборонительное положение, стали сыпать налево и направо милыми, но давно всем наскучившими наивностями. Среди своих суетившихся дочерей Анна Афанасьевна, маленькая, подвижная, суетливая, казалась беспокойной наседкой. Бобров, усталый, почти больной после вчерашней вспышки, сидел одиноко в углу станционной залы и очень много курил. Когда вошло и с громким щебетанием расселось у круглого стола семейство Зиненок, Андрей Ильич испытал одновременно два весьма смутных чувства. С одной стороны, ему стало стыдно за бестактный, как он думал, приезд этого семейства, стало стыдно жгучим, удручающим *стыдом за другого.* С другой стороны, он обрадовался, увидев Нину, разрумяненную быстрой ездой, с возбужденными, блестящими глазами, очень мило одетую и, как всегда это бывает, гораздо красивее, чем ее рисовало ему воображение. В его больной, издерганной душе вдруг зажглось нестерпимое желание нежной, благоухающей девической любви, жажда привычной и успокоительной женской ласки. Он искал случая подойти к Нине, но она все время была занята болтовней с двумя горными студентами, которые наперерыв старались ее рассмешить. И она смеялась, сверкая мелкими белыми зубами, более кокетливая и веселая, чем когда-либо. Однако два или три раза она встретилась глазами с Бобровым, и ему почудился в ее слегка приподнятых бровях молчаливый, но не враждебный вопрос. На платформе раздался продолжительный звонок, возвещавший отход поезда с ближайшей станции. Между инженерами произошло смятение. Андрей Ильич наблюдал из своего угла с насмешкой на губах, как одна и та же трусливая мысль мгновенно овладела этими двадцатью с лишком человеками, как их лица вдруг стали серьезными и озабоченными, руки невольным быстрым движением прошлись по пуговицам сюртуков, по галстукам и фуражкам, глаза обратились в сторону звонка. Скоро в зале никого не осталось. Андрей Ильич вышел на платформу. Барышни, покинутые занимавшими их мужчинами, беспомощно толпились около дверей, вокруг Анны Афанасьевны. Нина обернулась на пристальный, упорный взгляд Боброва и, точно угадывая его желание поговорить с нею наедине, пошла ему навстречу. – Здравствуйте. Что вы такой бледный сегодня? Вы больны? – спросила она, крепко и нежно пожимая его руку и

заглядывая ему в глаза серьезно и ласково. – Почему вы вчера так рано уехали и даже не хотели проститься? Рассердились на что-нибудь? – И да и нет, – ответил Бобров улыбаясь. – Нет, – потому что я ведь не имею никакого права сердиться. – Положим, всякий человек имеет право сердиться. Особенно, если знает, что его мнением дорожат. А почему же да? – Потому что… Видите ли, Нина Григорьевна, – сказал Бобров, почувствовав внезапный прилив смелости. – Вчера, когда мы с вами сидели на балконе, – помните? – я благодаря вам пережил несколько чудных мгновений. И я понял, что вы, если бы захотели, то могли бы сделать меня самым счастливым человеком в мире… Ах, да что же я боюсь и медлю… Ведь вы знаете, вы догадались, ведь вы давно знаете, что я… Он не договорил… Нахлынувшая на него смелость вдруг исчезла. – Что вы… что такое? – переспросила Нина с притворным равнодушием, однако голосом, внезапно, против ее воли, задрожавшим, и опуская глаза в землю. Она ждала признания в любви, которое всегда так сильно и приятно волнует сердца молодых девушек, все равно, отвечает ли их сердце взаимностью на это признание или нет. Ее щеки слегка побледнели. – Не теперь… потом, когда-нибудь, – замялся Бобров. – Когда-нибудь, при другой обстановке я вам это скажу… Ради бога, не теперь, – добавил он умоляюще. – Ну, хорошо. Все-таки почему же вы рассердились? – Потому что после этих нескольких минут я вошел в столовую в самом, – ну, как бы это сказать, – в самом растроганном состоянии… И когда я вошел… – То вас неприятно поразил разговор о доходах Квашнина? – догадалась Нина с той внезапной, инстинктивной проницательностью, которая иногда осеняет даже самых недалеких женщин. – Да? Я угадала? – Она повернулась к нему и опять обдала его глубоким, ласкающим взором. – Ну, говорите откровенно. Вы ничего не должны скрывать от своего друга. Когда-то, месяца три или четыре тому назад, во время катанья по реке большим обществом, Нина, возбужденная и разнеженная красотой теплой летней ночи, предложила Боброву свою дружбу на веки вечные, – он принял этот вызов очень серьезно и в продолжение целой недели называл ее своим другом, так же как и она его. И когда она говорила ему медленно и значительно, со своим обычным томным видом: *«мой друг»,* то эти два коротеньких слова заставляли его сердце биться крепко и сладко. Теперь он вспомнил эту шутку и отвечал со вздохом: – Хорошо, «мой друг», я вам буду говорить правду, хотя мне это немного тяжело. По отношению к вам я вечно нахожусь в какой-то мучительной двойственности. Бывают минуты в наших разговорах, когда вы одним словом, одним жестом, даже одним

взглядом вдруг сделаете меня таким счастливым!.. Ах, разве можно передать такие ощущения словами?.. Скажите только, замечали ли вы это? – Замечала, – отозвалась она почти шепотом и низко, с лукавой дрожью в ресницах, опустила глаза. – А потом… потом вдруг, тотчас же, на моих глазах вы превращались в провинциальную барышню, с шаблонным обиходом фраз и с какою-то заученной манерностью во всех поступках… Не сердитесь на меня за откровенность… Если бы это не мучило меня так страшно, я не говорил бы… – Я и это тоже заметила… – Ну, вот видите… Я ведь всегда был уверен, что у вас отзывчивая, нежная и чуткая душа. Отчего же вы не хотите всегда быть такой, как теперь? Она опять повернулась к Боброву и даже сделала рукой такое движение, как будто бы хотела прикоснуться к его руке. Они в это время ходили взад и вперед по свободному концу платформы. – Вы не хотели никогда меня понять, Андрей Ильич, – сказала она с упреком. – Вы нервны и нетерпеливы. Вы преувеличиваете все, что во мне есть хорошего, но зато не прощаете мне того, что я не могу же быть иной в той среде, где я живу. Это было бы смешно, это внесло бы в нашу семью несогласие. Я слишком слаба и, надо правду сказать, слишком ничтожна для борьбы и для самостоятельности… Я иду туда, куда идут все, гляжу на вещи и сужу о них, как все. И вы не думайте, чтобы я не сознавала своей обыденности… Но я с другими не чувствую ее тяжести, а с вами… С вами я всякую меру теряю, потому что… – она запнулась, – ну, да все равно… потому что вы совсем другой, потому что такого, как вы, человека я никогда еще в жизни не встречала. Ей казалось, что она говорит искренно. Бодрящая свежесть осеннего воздуха, вокзальная суета, сознание своей красоты, удовольствие чувствовать на себе влюбленный взгляд Боброва – все это наэлектризовало ее до того состояния, в котором истеричные натуры лгут так вдохновенно, так пленительно и так незаметно для самих себя. С наслаждением любуясь собой в новой роли девицы, жаждущей духовной поддержки, она чувствовала потребность говорить Боброву приятное. – Я знаю, что вы меня считаете кокеткой… Пожалуйста, не оправдывайтесь… И я согласна, я даю повод так думать… Например, я смеюсь и болтаю часто с Миллером. Но если бы вы знали, как мне противен этот вербный херувим! Или эти два студента… Красивый мужчина уже по тому одному неприятен, что вечно собой любуется… Поверите ли, хотя это, может быть, и странно, но мне всегда были особенно симпатичны некрасивые мужчины. При этой милой фразе, произнесенной самым нежным тоном, Бобров грустно вздохнул. Увы! Он уже не раз из женских уст слышал это жестокое утешение, в котором женщины никогда

не отказывают своим некрасивым поклонникам. – Значит, и я могу надеяться заслужить когда-нибудь вашу симпатию? – спросил он шутливым тоном, в котором, однако, явственно прозвучала горечь насмешки над самим собой. Нина быстро спохватилась. – Ну вот, какой вы, право. С вами нельзя разговаривать… Зачем вы напрашиваетесь на комплименты, милостивый государь? Стыдно!.. Она сама немного сконфузилась своей неловкости и, чтобы переменить разговор, спросила с игривой повелительностью: – Ну-с, что же вы это собирались мне сказать при другой обстановке? Извольте немедленно отвечать! – Я не знаю… не помню, – замялся расхоложенный Бобров. – Я вам напомню, мой скрытный друг. Вы начали говорить о вчерашнем дне, потом о каких-то прекрасных мгновениях, потом сказали, что я, наверно, давно уже заметила… но что? Вы этого не докончили… Извольте же говорить теперь. Я требую этого, слышите!.. Она глядела на него глазами, в которых сияла улыбка – лукавая, и обещающая, и нежная в одно и то же время… Сердце Боброва сладко замерло в груди, и он почувствовал опять прилив прежней отваги. «Она знает, она сама хочет, чтобы я говорил», – подумал он, собираясь с духом. Они остановились на самом краю платформы, где совсем не было публики. Оба были взволнованы. Нина ждала ответа, наслаждаясь остротой затеянной ею игры, Бобров искал слов, тяжело дышал и волновался. Но в это время послышались резкие звуки сигнальных рожков, и на станции поднялась суматоха. – Так слышите же… Я жду, – шепнула Нина, быстро отходя от Боброва. – Для меня это гораздо важнее, чем вы думаете… Из-за поворота железной дороги выскочил окутанный черным дымом курьерский поезд. Через несколько минут, громыхая на стрелках, он плавно и быстро замедлил ход и остановился у платформы… На самом конце его был прицеплен длинный, блестящий свежей синей краской служебный вагон, к которому устремились все встречающие. Кондуктора почтительно бросились раскрывать дверь вагона; из нее тотчас же выскочила, с шумом развертываясь, складная лестница. Начальник станции, красный от волнения и беготни, с перепуганным лицом торопил рабочих с отцепкой служебного вагона. Квашнин был одним из главных акционеров N-ской железной дороги и ездил по ее ветвям с почетом, как не всегда удостоивалось даже самое высшее железнодорожное начальство. В вагон вошли только Шелковников, Андреа и двое влиятельных инженеров-бельгийцев. Квашнин сидел в кресле, расставив свои колоссальные ноги и выпятив вперед живот. На нем была круглая фетровая шляпа, из-под которой сияли огненные волосы; бритое, как у актера, лицо с

обвисшими щеками и тройным подбородком, испещренное крупными веснушками, казалось заспанным и недовольным; губы складывались в презрительную, кислую гримасу. При виде инженеров он с усилием приподнялся. – Здравствуйте, господа, – сказал он сиплым басом, протягивая им поочередно для почтительных прикосновений свою огромную пухлую руку. – Ну-с, как у вас на заводе? Шелковников начал докладывать языком служебной бумаги. На заводе все благополучно. Ждут только приезда Василия Терентьевича, чтобы в его присутствии пустить доменную печь и сделать закладку новых зданий… Рабочие и мастера наняты по хорошим ценам. Наплыв заказов так велик, что побуждает как можно скорее приступить к работам. Квашнин слушал, отворотясь лицом к окну, и рассеянно разглядывал собравшуюся у служебного вагона толпу. Лицо его ничего не выражало, кроме брезгливого утомления. Вдруг он прервал директора неожиданным вопросом: – Э… па… послушайте… Кто эта девочка? Шелковников заглянул в окно. – Ну, вот эта… с желтым пером на шляпе, – нетерпеливо показал пальцем Квашнин. – Ах, эта? – встрепенулся директор и, наклонившись к уху Квашнина, прошептал таинственно по-французски: – Это дочь нашего заведующего складом. Его фамилия Зиненко. Квашнин грузно кивнул головой. Шелковников продолжал свой доклад, но принципал опять перебил его: – Зиненко… Зиненко… – протянул он задумчиво и не отрываясь от окна. – Зиненко… кто же такой этот Зиненко?.. Где я эту фамилию слышал?.. Зиненко? – Он у нас заведует складом, – почтительно и умышленно бесстрастно повторил Шелковников. – Ах, вспомнил! – догадался вдруг Василий Терентьевич. – Мне о нем в Петербурге говорили… Ну-с, продолжайте, пожалуйста. Нина безошибочным женским чутьем поняла, что именно на нее смотрит Квашнин и о ней говорит в настоящую минуту. Она немного отвернулась, но лицо ее, разрумянившееся от кокетливого удовольствия, все-таки было, со всеми своими хорошенькими родинками, видно Василию Терентьевичу. Наконец доклад окончился, и Квашнин вышел на площадку, устроенную в виде просторного стеклянного павильона сзади вагона. Это был момент, для увековечения которого, как подумал Бобров, не хватало только хорошего фотографического аппарата. Квашнин почему-то медлил сходить вниз и стоял за стеклянной стеной, возвышаясь своей массивной фигурой над теснящейся около вагона группой, с широко расставленными ногами и брезгливой миной на лице, похожий на японского идола грубой работы. Эта неподвижность патрона, очевидно, коробила встречающих: на их губах застыли, сморщив их, заранее приготовленные улыбки, между тем как глаза,

устремленные вверх, смотрели на Квашнина с подобострастием, почти с испугом. По сторонам дверцы застыли в солдатских позах молодцеватые кондуктора. Заглянув случайно в лицо опередившей его Нины, Бобров с горечью заметил и на ее лице ту же улыбку и тот же тревожный страх дикаря, взирающего насвоего идола. «Неужели же здесь только бескорыстное, почтительное изумление перед тремястами тысячами годового дохода? – подумал Андрей Ильич. – Что же заставляет всех этих людей так униженно вилять хвостом перед человеком, который даже и не взглянет на них никогда внимательно? Или здесь есть какой-нибудь не доступный пониманию психологический закон подобострастия?» Постояв немного, Квашнин решился двинуться и, предшествуемый своим животом, поддерживаемый бережно под руки поездной прислугой, спустился по ступеням на платформу. На почтительные поклоны быстро расступившейся перед ним вправо и влево толпы он небрежно кивнул головой, выпятив вперед толстую нижнюю губу, и сказал гнусаво: – Господа, вы свободны до завтрашнего дня. Не дойдя до подъезда, он знаком подозвал к себе директора. – Так вы, Сергей Валерьянович, представьте мне его, – сказал он вполголоса. – Зиненку? – предупредительно догадался Шелковников. – Ну да, черт возьми! – внезапно раздражаясь, буркнул Квашнин. – Только не здесь, не здесь, – остановил он за рукав устремившегося было директора. – Когда я буду на заводе…

VII

Закладка каменных работ и открытие кампании новой домны произошли через четыре дня после приезда Квашнина. Предполагалось отпраздновать оба эти события с возможно большим торжеством, почему на соседние металлургические заводы: Крутогорский, Воронинский и Львовский, были заранее разосланы печатные приглашения. Вслед за Василием Терентьевичем из Петербурга прибыли еще два члена правления, четверо бельгийских инженеров и несколько крупных акционеров. Между заводскими служащими носились слухи, будто бы правление ассигновало на устройство парадного обеда около двух тысяч рублей, однако эти слухи пока ничем еще не оправдались, вся закупка вин и припасов легла тяжелой данью на подрядчиков. День выдался очень удачный для торжества, – один из тех ярких, прозрачных дней ранней осени, когда небо кажется таким густым, синим и глубоким, а прохладный воздух пахнет тонким, крепким вином. Квадратные ямы, вырытые под фундаменты для новой воздуходувной машины и бессемеровой печи, были окружены в виде «покоя» густой толпою рабочих. В середине этой живой ограды, над самым краем ямы, возвышался простой некрашеный стол, покрытый белой скатертью, на котором лежали крест и евангелие рядом с жестяной чашей для святой воды и кропилом. Священник, уже облаченный в зеленую, затканную золотыми крестами ризу, стоял в стороне, впереди пятнадцати рабочих, вызвавшихся быть певчими. Открытую сторону покоя занимали инженеры, подрядчики, старшие десятники, конторщики – пестрая, оживленная группа из двухсот с лишком человек. На насыпи поместился фотограф, который, накрыв черным платком и себя и свой аппарат, давно уже возился, отыскивая удачную точку. Через десять минут Квашнин быстро подкатил к площадке на тройке великолепных серых лошадей. Он сидел в коляске один, потому что, при всем желании, никто не смог бы поместиться рядом с ним. Следом за Квашниным подъехало еще пять или шесть экипажей. Увидев Василия Терентьевича, рабочие инстинктом узнали в нем «набольшего» и тотчас же, как один человек, поснимали шапки. Квашнин величественно прошел вперед и кивнул головой священнику. – Благословен бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веко-ов, – раздался среди быстро наступившей тишины дребезжащий, кроткий и гнусавый тенорок священника. – Аминь, – подхватил довольно стройно импровизированный хор. Рабочие – их было до трех тысяч человек – так же дружно, как кланялись Квашнину,

перекрестились широкими крестами, склонили головы и потом, подняв их, встряхнули волосами… Бобров стал невольно присматриваться к ним. Впереди стояли двумя рядами степенные русаки-каменщики, все до одного в белых фартуках, почти все со льняными волосами и рыжими бородами, сзади них – литейщики и кузнецы в широких темных блузах, перенятых от французских и английских рабочих, с лицами, никогда не отмываемыми от железной копоти, – между ними виднелись и горбоносые профили иноземных увриеров; сзади, из-за литейщиков, выглядывали рабочие при известковых печах, которых издали можно было узнать по лицам, точно обсыпанным густо мукою, и по воспаленным, распухшим, красным глазам… Каждый раз, когда хор громко и стройно, хотя несколько в нос, пел «Спаси от бед рабы твоя, богородице», все эти три тысячи человек с однообразным тихим шелестом творили свои усердные крестные знамения и клали низкие поклоны. Что-то стихийное, могучее и в то же время что-то детское и трогательное почудилось Боброву в этой общей молитве серой огромной массы. Завтра все рабочие примутся за свой тяжкий, упорный, полусуточный труд. Почем знать, кому из них уже предначертано судьбою поплатиться на этом труде жизнью: сорваться с высоких лесов, опалиться расплавленным металлом, быть засыпанным щебнем или кирпичом? И не об этом ли непреложном решении судьбы думают они теперь, отвешивая низкие поклоны и встряхивая русыми кудрями, в то время когда хор просит богородицу – спасти от бед рабы своя… И на кого, как не на одну только богородицу, надеяться этим большим детям, с мужественными и простыми сердцами, этим смиренным воинам, ежедневно выходящим из своих промозглых, настуженных землянок на привычный подвиг терпения и отваги? Так, или почти так, думал Бобров, всегда склонный к широким, поэтическим картинам; и хотя он давно уже отвык молиться, но каждый раз, когда дребезжащий, далекий голос священника сменялся дружным возгласом клира, по спине и по затылку Андрея Ильича пробегала холодная волна нервного возбуждения. Было что-то сильное, покорное и самоотверженное в наивной молитве этих серых тружеников, собравшихся бог весть откуда, из далеких губерний, оторванных от родного, привычного угла для тяжелой и опасной работы… Молебен кончился. Квашнин с небрежным видом бросил в яму золотой, но нагнуться с лопаточкой никак не мог – это сделал за него Шелковников. Потом вся группа двинулась к доменным печам, возвышавшимся на каменных фундаментах своими круглыми черными массивными башнями. Пятая, вновь выстроенная домна шла, как говорится на техническом жаргоне, «спелым ходом». Из

проделанного внизу ее, на аршинной высоте, отверстия бил широким огненно-белым клокочущим потоком расплавленный шлак, от которого прыгали во все стороны голубые серные огоньки. Шлак стекал по наклонному желобу в котлы, подставленные к отвесному краю фундамента, и застывал в них зеленоватой густой массой, похожей на леденец. Рабочие, находившиеся на самой верхушке печи, продолжали без отдыха забрасывать в нее руду и каменный уголь, которые то и дело подымались наверх в железных вагонетках. Священник окропил домну со всех сторон святою водой и, боязливо торопясь, спотыкающейся, старческой походкой отошел в сторону. Горновой мастер, жилистый чернолицый старик, перекрестился и поплевал на руки. То же сделали четверо его подручных. Потом они подняли с земли очень длинный стальной лом, долго раскачивали его и, одновременно крякнув, ударили им в самый низ печи. Лом звонко стукнулся в глиняную втулку. Зрители в боязливо-нервном ожидании зажмурили глаза; некоторые подались назад. Рабочие ударили в другой раз, потом в третий, в четвертый… и вдруг из-под острия лома брызнул фонтан нестерпимо яркого жидкого металла. Тогда горновой мастер кругообразными движениями лома расширил отверстие, и чугун медленно полился по песчаной бороздке, принимая оттенок огненной охры. Целые снопы блестящих крупных звезд летели во все стороны из отверстия печи, громко треща и исчезая в воздухе. От этого тихо, как будто лениво текущего металла шел такой страшный жар, что непривычные гости все время отодвигались и закрывали щеки руками. От доменных печей инженеры двинулись в отдел воздуходувных машин. Квашнин заранее распорядился так, чтобы приехавшие с ним акционеры увидели завод во всей его колоссальной величине и сутолоке. Он совершенно верно рассчитал, что эти господа, пораженные массою сильных и совершенно новых для них впечатлений, будут потом рассказывать чудеса уполномочившему их общему собранию. И, глубоко зная психологию деловых людей, Василий Терентьевич уже считал делом решенным новый и весьма выгодный лично для него выпуск акций, на который до сих пор не соглашалось общее собрание. И акционеры действительно были поражены до головной боли, до дрожи в ногах… В помещении воздуходувных машин они слышали, бледные от волнения, как воздух, нагнетаемый четырьмя вертикальными двухсаженными поршнями в трубы, устремлялся по ним с ревом, заставляющим трястись каменные стены здания. По этим чугунным, массивным, в два обхвата шириною трубам воздух проходил сквозь каупера, нагревался в них горящими газами до шестисот градусов и оттуда

уже проникал во внутренность доменной печи, расплавляя руду и уголь своим жарким дуновением. Инженер, заведывающий воздуходувным отделением, давал объяснения. И хотя он нагибался поочередно к самым ушам акционеров и кричал во весь голос, надсаживая грудь, но за страшным гулом машин его слов не было слышно, а казалось только, что он беззвучно и напряженно шевелит губами. Потом Шелковников повел гостей в сарай пудлинговых печей – высокое железное здание такой длины, что с одного его конца другой конец казался едва заметным просветом. Вдоль одной из стен сарая тянулась каменная платформа, на которой помещалось двадцать пудлинговых печей, формой напоминавших снятые с колес вагоны. В этих печах жидкий чугун смешивался с рудой и перерабатывался в сталь. Готовая сталь, стекая вниз по трубам, наполняла собой высокие железные штамбы – нечто вроде футляров без дна, но с ручками наверху – и застывала в них сплошными кусками, пудов по сорока весом. Свободная сторона сарая была занята рельсовым путем, по которому сновали, пыхтя, шипя и стуча, паровые краны, похожие на послушных и ловких животных, снабженных гибкими хоботами. Один кран хватал штамбу крючком за ручку, поднимал ее кверху, и из нее тяжело вываливался кусок стали в виде длинного правильного бруска ослепительно красного цвета. Но прежде чем этот кусок успевал упасть на землю, рабочий с необыкновенной ловкостью обматывал его цепью в руку толщиной. Второй кран, ухватив крючком эту цепь, плавно нес «штуку» в воздухе и клал рядом с другими на платформу, прикрепленную к третьему крану. Третий – влек этот груз на другой конец сарая, где четвертый, снабженный вместо крючка щипцами, снимал «штуки» с вагона и опускал их в раскрытые люки газовых печей, устроенных под полом. Наконец пятый кран вытаскивал их из этих люков совершенно белыми от жара, клал поочередно под круглое колесо с острыми зубьями, вращавшееся чрезвычайно быстро на горизонтальной оси, и сорокапудовая стальная «штука» в течение пяти секунд разрезалась на две половины, как кусок мягкого пряника. Каждая половина поступала под семисотпудовый пресс парового молота, обжимавшего ее с такой силой и такой легкостью, точно она была из воска. Рабочие подхватывали ее тотчас же на ручные тележки и бегом тащили дальше, обдавая всех встречных блеском и жаром раскаленного железа. Затем Шелковников показал своим гостям рельсопрокатный цех. Огромный брусок раскаленного металла проходил через целый ряд станков, катясь от одного к другому по валикам, которые вращались под полом, виднеясь на его поверхности только самой

верхней своей частью. Брусок втискивался в отверстие, образуемое двумя стальными, вертевшимися в разные стороны цилиндрами, и пролезал между ними, заставляя их раздаваться и дрожать от напряжения. Дальше его ждал станок с еще меньшим отверстием между цилиндрами. Кусок стали делался после каждого станка все тоньше и длиннее и, несколько раз перебежав рельсопрокатку взад и вперед, принимал мало-помалу форму десятисаженного красного рельса. Сложным движением пятнадцати станков управлял всего один человек, помещавшийся над паровой машиной, на возвышении вроде капитанского мостика. Он двигал рукоятку вперед, и все цилиндры и валики начинали вертеться в одну сторону; двигал ее назад – и цилиндры и валики вертелись в обратную сторону. Когда рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаном золотых искр, разрезала его на три части. Затем все перешли в токарный цех, где главным образом отделывались вагонные и паровозные колеса. Кожаные приводы спускались там с потолка от толстого стального стержня, проходившего через весь сарай, и приводили в движение сотни две или три станков самых разных величин и фасонов. Этих приводов было так много, и они перекрещивались во стольких направлениях, что производили впечатление одной сплошной, запутанной и дрожащей ременной сети. Колеса некоторых станков вращались с быстротой двадцати оборотов в секунду, движение же других было так медленно, что почти не замечалось глазом. Стальные, железные и медные стружки, в виде красивых длинных спиралей, густо покрывали пол. Сверлильные станки оглашали воздух нестерпимым, тонким и резким визжанием. Там же была показана гостям машина, работающая гайки, – нечто вроде двух огромных стальных регулярно чавкающих челюстей. Двое рабочих всовывали в эту пасть конец накаленного длинного прута, и машина, равномерно отгрызая по куску металла, выплевывала их на землю в виде совершенно готовых гаек. Когда, выйдя из токарного цеха, Шелковников предложил акционерам (он все время исключительно к ним обращался со своими разъяснениями) осмотреть гордость завода, девятисотсильный «Компаунд», то петербургские господа уже в достаточной степени были оглушены и расстроены всем виденным и слышанным. Новые впечатления не внушали им более никакого интереса, а только еще сильнее утомляли их. Лица их пылали от жара рельсопрокатки, руки и костюмы были перепачканы угольной сажей. На предложение директора они согласились, по-видимому, скрепя сердце, чтобы только не уронить достоинства уполномочившего их собрания. Девятисотсильный «Компаунд»

помещался в отдельном здании, очень чистеньком и нарядном, со светлыми окнами и мозаичным полом. Несмотря на громадность машины, она почти не издавала стука… Два поршня, в четыре сажени каждый, мягко и быстро ходили в цилиндрах, обитых деревянными планками. Двадцатифутовое колесо, со скользящими по нем двенадцатью канатами, вращалось также беззвучно и быстро; от его широкого движения суховатый жаркий воздух машинного отделения колебался сильными, равномерными порывами. Эта машина приводила в движение и воздуходувки, и прокатные станки, и все машины токарного цеха. Осмотрев «Компаунд», акционеры были уже совершенно убеждены, что их испытания окончились, но неутомимый Шелковников вдруг обратился к ним с новым любезным предложением: – Теперь, господа, я вам покажу сердце всего завода, тот пункт, от которого он получает свою жизнь. Он не повел, а почти повлек их в отделение паровых котлов. Однако после всего виденного «сердце завода» – двенадцать цилиндрических котлов пятисаженной длины и полутора сажен высоты каждый – не произвело на уставших акционеров особенно внушительного впечатления. Их мысли давно вращались вокруг ожидавшего их обеда, и они уже ничего не расспрашивали, как раньше, а только рассеянно и равнодушно кивали головами на все разъяснения Шелковникова. Когда директор кончил, акционеры вздохнули с облегчением и очень искренно, с нескрываемым удовольствием принялись жать ему руку. Теперь только один Андрей Ильич остался около паровых котлов. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, в которой помещались топки, он долго глядел вниз на тяжелую работу шестерых обнаженных до пояса людей. На их обязанности лежало беспрерывно, и днем и ночью, подбрасывать каменный уголь в топочные отверстия. То и дело со звоном отворялись круглые чугунные заслонки, и тогда видно было, как в топках с гудением и ревом клокотало ярко-белое бурное пламя. То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные от пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы и все позвонки спинного хребта. То и дело худые, цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым, ловким движением всовывали его в раскрытое пылающее жерло. Двое других рабочих, стоя наверху и также не останавливаясь ни на мгновение, сбрасывали вниз все новые и новые кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокруг котельного отделения. Что-то удручающее, нечеловеческое чудилось Боброву в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала

их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они, под страхом ужасной смерти, должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище… – Что, коллега, смотрите, как вашего Молоха упитывают? – услышал Бобров за своей спиной веселый, добродушный голос. Андрей Ильич задрожал и чуть-чуть не полетел в кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соответствие шутливого восклицания доктора с его собственными мыслями. Даже и овладев собою, он долго не мог отделаться от странности такого совпадения. Его всегда интересовали и казались ему загадочными те случаи, когда, задумавшись о каком-нибудь предмете или читая о чем-нибудь в книге, он тотчас же слышал рядом с собою разговор о том же самом. – Я вас, кажется, напугал, дорогой мой? – спросил доктор, внимательно заглянув в лицо Боброва. – Прошу прощения. – Да, немножко… вы так неслышно подошли… я совсем не ожидал. – Ох, батенька Андрей Ильич, давайте-ка полечим наши нервы. Никуда они у нас не годятся… Послушайтесь моего совета: берите отпуск да махните куда-нибудь за границу… Ну, что вам себя здесь растравлять? Поживите полгодика в свое удовольствие: пейте хорошее вино, ездите верхом побольше, насчет ламура пройдитесь… Доктор подошел к краю кочегарки. – Вот так преисподняя! – воскликнул он, заглянув вниз. – Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов восемьсот, я думаю?.. – Нет, побольше. Тысячи полторы. – Ой, ой, ой… А ну как такая штучка вздумает того… лопнуть? Эффектное выйдет зрелище? А? – Очень эффектное, доктор. Наверно, от всех этих зданий не останется камня на камне… Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул. – Отчего же это может случиться? – Причины разные бывают… но чаще всего это случается таким образом: когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не докрасна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается. – Так что это можно сделать нарочно? – Сколько угодно… Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль… видите, маленький круглый рычажок… И все тут. Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. «Черт его знает, – подумал доктор, – милый он человек, а все-таки… психопат…» – Вы что же на обед-то не пошли, Андрей Ильич? – спросил Гольдберг, отходя от кочегарки. – Хоть поглядели бы, какой зимний сад из лаборатории устроили. А сервировка, – так прямо на удивление. – А ну их! Терпеть не могу инженерных обедов, – поморщился

Бобров. – Хвастаются, орут, безобразно льстят друг другу, и потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей… Отвращение!.. – Да, да, совершенно верно, – рассмеялся доктор. – Я захватил начало. Квашнин – одно великолепие: «Милостивые государи, призвание инженера – высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доменной печью и с шахтой он несет в глубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и…» какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько… Но ведь каков обер-жулик!.. «Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства!..» Ну, конечно, бешеные рукоплескания. Они прошли несколько шагов молча. Лицо доктора вдруг омрачилось, и он заговорил со злобой в голосе: – Да! Благодетельное искусство! А вот рабочие бараки из щепок выстроены. Больных не оберешься… дети, как мухи, мрут. Вот тебе и семена просвещения! То-то они запоют, когда брюшной тиф разгуляется в Иванкове. – Да что вы, доктор? Разве уже есть больные? Это совсем ужасно было бы при такой тесноте. Доктор остановился, тяжело переводя дух. – Да как же не быть? – сказал он с горечью. – Вчера двух человек привезли. Один сегодня утром скончался, а другой если еще не умер, то вечером умрет непременно… А у нас ни медикаментов, ни помещения, ни фельдшеров опытных… Подождите, доиграются они!.. – прибавил Гольдберг сердито и погрозил кому-то в пространство кулаком.

VIII

Злые языки начали звонить. Про Квашнина еще до его приезда ходило на заводе так много пикантных анекдотов, что теперь никто не сомневался в настоящей причине его внезапного сближения с семейством Зиненок. Дамы говорили об этом с двусмысленными улыбками, мужчины в своем кругу называли вещи с циничной откровенностью их именами. Однако наверняка никто ничего не знал. Все с удовольствием ждали соблазнительного скандала. В сплетне была доля правды. Сделав визит семейству Зиненок, Квашнин стал ежедневно проводить у них вечера. По утрам, около одиннадцати часов, в Шепетовскую экономию приезжала его прекрасная тройка серых, и кучер неизменно докладывал, что «барин просит барыню и барышень пожаловать к ним на завтрак». К этим завтракам посторонние не приглашались. Кушанье готовил повар-француз, которого Василий Терентьевич всюду возил за собою в своих частых разъездах, даже и за границу. Внимание Квашнина к его новым знакомым выражалось очень своеобразно. Относительно всех пятерых девиц он сразу стал на бесцеремонную ногу холостого и веселого дядюшки. Через три дня он уже называл их уменьшительными именами с прибавлением отчества – Шура Григорьевна, Ниночка Григорьевна, а самую младшую, Касю, часто брал за пухлый, с ямочкой, подбородок и дразнил «младенцем» и «цыпленочком», отчего она краснела до слез, но не сопротивлялась. Анна Афанасьевна с игривой ворчливостью пеняла ему, что он совсем избалует ее девочек! Действительно, стоило только одной из них выразить какое-нибудь мимолетное желание, как оно тотчас же исполнялось. Едва Мака заикнулась, без всякого, впрочем, заднего умысла, что ей хотелось бы выучиться ездить на велосипеде, как на другой же день нарочный привез из Харькова прекрасную машину, стоившую по меньшей мере рублей триста… Бете он проиграл, держа с нею пари по поводу каких-то пустяков, пуд конфет, а Касе – брошку, в которой последовательно чередовались камни – коралл, аметист, сапфир и яшма, – обозначавшие составные буквы ее имени. Он услышал однажды, что Нина любит верховую езду и лошадей. Через два дня ей привели кровную английскую кобылу, в совершенстве выезженную под дамское седло. Барышни были очарованы. В их доме поселился добрый сказочный дух, угадывавший и тотчас же исполнявший их малейшие капризы. Анна Афанасьевна смутно чувствовала в этой щедрости что-то неприличное для хорошей семьи, но у нее не хватало ни смелости, ни такта, чтобы дать

незаметно понять это Квашнину. На ее льстивые выговоры он только махал рукой и отвечал своим грубоватым, решительным басом: – Ну вот еще, дорогая моя… пустяки какие выдумали… Однако ни одну из ее дочерей он не предпочитал явно, всем им одинаково угождая и над всеми бесцеремонно подтрунивая. Молодые люди, посещавшие раньше дом Зиненок, предупредительно и бесследно исчезли. Зато постоянным гостем сделался Свежевский, бывший у них до того всего-навсего раза два или три. Его никто не звал; он явился сам, точно по чьему-то таинственному приглашению, и сразу сумел сделаться необходимым для всех членов семьи. Впрочем, появлению его у Зиненок предшествовал маленький анекдот. Как-то, месяцев пять тому назад, Свежевский проговорился в кругу своих сослуживцев, что мечта его жизни – сделаться со временем миллионером и что он к сорока годам непременно будет им. – Как же вы этого добьетесь, Станислав Ксаверьевич? – спросили его. Свежевский захихикал и, загадочно потирая свои мокрые руки, ответил: – Все дороги ведут в Рим. Чутье ему подсказывало, что теперь в Шепетовской экономии обстоятельства складываются весьма удобно для его будущей карьеры. Так или иначе, он мог пригодиться всемогущему патрону. И Свежевский, ставя все на карту, смело лез Квашнину на глаза со своим угодливым хихиканьем. Он заигрывал с ним, как веселый дворовый щенок со свирепым меделянским псом, выражая и лицом и голосом ежеминутную готовность учинить какую угодно пакость по одному только мановению Василия Терентьевича. Патрон не препятствовал. Тот самый Квашнин, который прогонял со службы без объяснения причин директоров и управляющих заводами, – этот самый Квашнин молча терпел в своем присутствии какого-то Свежевского… Тут пахло важной услугой, и будущий миллионер напряженно ждал своего момента. Все это, передаваясь из уст в уста, стало известно и Боброву. Он не удивился: на семейство Зиненок у него сложился свой твердый и точный взгляд. Его взволновало лишь то, что сплетня не преминет задеть грязным хвостом и Нину… После разговора на вокзале эта девушка стала ему еще милее и дороже. Ему одному она доверчиво открыла свою душу, прекрасную даже в колебаниях и в слабостях. Все другие знали – думалось ему – только ее костюм и наружность. Ревность же с ее циничными сомнениями, вечно раздраженным самолюбием, с ее мелочностью и грубостью была чужда доверчивой и нежной натуре Боброва. Хорошая, искренняя женская любовь ни разу еще не улыбнулась Андрею Ильичу. Он был слишком застенчив и неуверен в себе, чтобы брать от жизни то, что ему, может быть, принадлежало по праву. Не удивительно,

что теперь его душа радостно устремилась навстречу новому, сильному чувству. Все эти дни Бобров находился под обаянием разговора на вокзале. Сотни раз он вспоминал его в мельчайших подробностях и с каждым разом прозревал в словах Нины более глубокое значение. По утрам он просыпался со смутным сознанием чего-то большого и светлого, что посетило его душу и обещает ему в будущем много блаженства. Его неудержимо тянуло к Зиненкам: хотелось еще раз убедиться в своем счастье, еще раз слышать от Нины то робкие, то наивно смелые полупризнания. Но его стесняло присутствие Квашнина, и он утешал себя только тем, что патрон ни в каком случае не мог пробыть в Иванкове более двух недель. Однако случай помог ему увидеться с Ниной до отъезда Квашнина. Это произошло в воскресенье, через три дня после торжественного открытия кампании доменной печи. Бобров ехал верхом на Фарватере по широкой, хорошо набитой дороге, ведущей с завода на станцию. Было часа два прохладного, безоблачного дня. Фарватер шел бойкой ходой, прядая ушами и мотая косматой головой. На повороте около склада Бобров заметил даму в амазонке, спускавшуюся с горы на крупной гнедой лошади, и следом за нею – всадника на маленьком белом киргизе. Скоро он убедился, что это была Нина в темно-зеленой длинной развевающейся юбке, в желтых перчатках с крагами, с низеньким блестящим цилиндром на голове. Она уверенно и красиво сидела в седле. Стройная английская кобыла шла под нею эластической широкой рысью, круто собрав шею и высоко подымая тонкие, сухие ноги. Сопровождавший Нину Свежевский далеко отстал и старался, болтая локтями, трясясь и горбясь, поймать носком потерянное стремя. Заметив Боброва, Нина пустила лошадь галопом. Встречный ветер заставлял ее придерживать правой рукой перед шляпы и наклонять вниз голову. Поравнявшись с Андреем Ильичом, она сразу осадила лошадь, и та остановилась, нетерпеливо переступая ногами, раздувая широкие, породистые ноздри и звучно перебирая зубами удила, с которых комьями падала пена. От езды у Нины раскраснелось лицо, и волосы, выбившиеся на висках из-под шляпы, откинулись назад длинными тонкими завитками. – Откуда у вас такая прелесть? – спросил Бобров, когда ему, наконец, удалось осадить танцевавшего Фарватера и, перегнувшись на седле, пожать кончики пальцев Нины. – А правда, красавица? Это – подарок Квашнина. – Я бы отказался от такого подарка, – грубо сказал Андрей Ильич, внезапно рассерженный беспечным ответом Нины. Нина вспыхнула. – На каком основании? – Да на том, что… кто же для вас в самом деле Квашнин?.. Родственник?.. Жених?.. – Ах,

боже мой, как вы щепетильны за других! – воскликнула Нина язвительно. Но, увидев его страдающее лицо, она тотчас же смягчилась. – Ведь ему это ничего не стоит… Он так богат… Свежевский был уже в десяти шагах. Нина вдруг нагнулась к Боброву, ласково дотронулась концом хлыста до его руки и сказала вполголоса, тоном маленькой девочки, сознающейся в своей вине: – Ну, будет… будет, не сердитесь… Я ему возвращу лошадь назад, злючка вы этакий!.. Видите, что значит для меня ваше мнение. Глаза Андрея Ильича засияли счастьем, и руки невольно протянулись к Нине. Но он ничего не сказал, а только глубоко, всей грудью, вздохнул. Свежевский подъезжал к нему, раскланиваясь и стараясь принять небрежную посадку. – Вы, конечно, знаете о нашем пикнике? – крикнул еще издали Свежевский. – В первый раз слышу, – ответил Андрей Ильич. – Пикник по инициативе Василия Терентьевича? В Бешеной балке?.. – Не слыхал. – Да, да. Пожалуйста, приезжайте же, Андрей Ильич, – вмешалась Нина. – В среду, в пять часов вечера… сборный пункт – станция… – Пикник по подписке? – Кажется. Наверно не знаю. Нина вопросительно и растерянно взглянула на Свежевского. – По подписке, – подтвердил Свежевский. – Василий Терентьевич поручил мне исполнить некоторые его распоряжения. И я вам скажу, пикник будет колоссальный. Нечто сверхшикарное… Только все это покамест секрет. Вы будете поражены неожиданностью… Нина не утерпела и прибавила кокетливо: – Все это ведь из-за меня вышло. Третьего дня я говорила, что хорошо бы компанией куда-нибудь в лес проехаться, а Василий Терентьевич… – Я не поеду, – сказал Бобров резко. – Нет, поедете! – сверкнула глазами Нина. – Господа, марш, марш! – крикнула она, подымая лошадь с места галопом. – Андрей Ильич! Слушайте, что я вам скажу. Свежевский остался сзади. Нина и Бобров скакали рядом, она – улыбаясь и заглядывая ему в глаза, он – хмурый и недовольный. – Ведь это я для вас выдумала пикник, мой нехороший, подозрительный друг, – сказала она с глубокой нежностью в голосе. – Я хочу непременно узнать то, что вы не договорили тогда, на вокзале… Нам никто не помешает на пикнике. И опять мгновенная перемена произошла в душе Боброва. Чувствуя у себя на глазах слезы умиления, он воскликнул страстно: – О Нина! Как я люблю вас! Но Нина как будто бы не слыхала этого внезапного признания. Она потянула поводья, заставила лошадь перейти в шаг и спросила: – Так будете? Да? – Непременно. Непременно буду! – Смотрите же… А теперь подождем моего кавалера и – до свиданья. Я тороплюсь домой… Прощаясь с ней, он чувствовал через перчатку теплоту ее руки, ответившей ему долгим и

крепким пожатием. Темные глаза Нины смотрели влюбленно.

IX

В среду, уже с четырех часов, станция была битком набита участниками пикника. Все чувствовали себя весело и непринужденно. Приезд Василия Терентьевича на этот раз окончился так благополучно, как никто даже не смел ожидать. Ни громов, ни молний не последовало, никого не попросили оставить службу, и даже, наоборот, носились слухи о прибавке в недалеком будущем жалованья большинству служащих. Кроме того, пикник обещал выйти очень занимательным. До Бешеной балки, куда условились отправиться, считалось, если ехать на лошадях, не более десяти верст очень красивой дороги… Ясная и теплая погода, прочно установившаяся в течение последней недели, никак не могла помешать поездке. Приглашенных было до девяноста человек; они толпились оживленными группами на платформе, со смехом и громкими восклицаниями. Русская речь перемешивалась с французскими, немецкими и польскими фразами. Трое бельгийцев захватили с собой фотографические аппараты, рассчитывая делать при свете магния моментальные снимки… Всех интересовала полнейшая неизвестность относительно подробностей пикника. Свежевский с таинственным и важным видом намекал о каких-то «сюрпризах», но от объяснений всячески уклонялся. Первым сюрпризом оказался экстренный поезд. Ровно в пять часов из паровозного депо вышел новый американский десятиколесный паровоз. Дамы не могли удержаться от криков удивления и восторга: вся громадная машина была украшена флагами и живыми цветами. Зеленые гирлянды дубовых листьев, перемешанные с букетами астр, георгин, левкоев и гвоздики, обвивали спиралью ее стальной корпус, вились вверх по трубе, свешивались оттуда вниз, к свистку, и вновь подымались вверх, покрывая цветущей стеной будку машиниста. Из-под зелени и цветов стальные и медные части машины эффектно сверкали в золотых лучах осеннего заходящего солнца. Шесть вагонов первого класса, вытянувшиеся вдоль платформы, должны были отвезти участников пикника на 303-ю версту, откуда до Бешеной балки оставалось пройти не более пятисот шагов. – Господа, Василий Терентьевич просил меня сообщить вам, что он берет все расходы по пикнику на себя, – говорил Свежевский, торопливо переходя от одной группы к другой. – Господа, Василий Терентьевич просил меня передать всем приглашенным… Около него составилась большая кучка, он объяснил, в чем дело: – Василий Терентьевич остался чрезвычайно доволен тем приемом, который ему сделало

общество, и ему очень приятно отплатить любезностью за любезность. Он берет все расходы на себя… И, не утерпев, движимый тем чувством, которое заставляет лакея хвастать щедростью своего барина, он добавил веско: – Мы истратили на этот пикник три тысячи пятьсот девяносто рублей! – Пополам с господином Квашниным? – послышался сзади насмешливый голос. Свежевский быстро обернулся и убедился, что этот ядовитый вопрос задал Андреа, глядевший на него со своим обычным невозмутимым видом, заложив руки глубоко в карманы брюк. – Что вы изволили сказать? – переспросил Свежевский, густо краснея. – Нет, это *вы* изволили сказать: «*Мы* истратили три тысячи», и я имею полное основание думать, что вы подразумеваете себя и господина Квашнина под этим «мы»… в таком случае я считаю приятным долгом заявить вам, что если я принимаю эту любезность от господина Квашнина, то ведь от господина Свежевского я ее могу и не принять… – Ах, нет, нет… Вы не так меня поняли, – залепетал переконфуженный Свежевский. – Это все Василий Терентьевич. Я просто только… как доверенное лицо… Ну, вроде как приказчик, что ли, – добавил он с кислой усмешкой. Почти одновременно с подачей экстренного поезда приехали Зиненки в сопровождении Квашнина и Шелковникова. Но не успел еще Василий Терентьевич вылезть из коляски, как случилось никем не предвиденное происшествие трагикомического свойства. Еще с утра жены, сестры и матери заводских рабочих, прослышав о предстоящем пикнике, стали собираться на вокзале; многие принесли с собою и грудных ребят. С выражением деревянного терпения на загорелых, изнуренных лицах сидели они уже много часов на ступенях вокзального крыльца и на земле, вдоль стен, бросавших длинные тени. Их было более двухсот. На расспросы станционного начальства они отвечали, что им нужно «рыжего и толстого начальника». Сторож пробовал их устранить, но они подняли такой оглушительный гвалт, что он только махнул рукой и оставил баб в покое. Каждый подъезжавший экипаж вызывал между ними минутный переполох, но так как «рыжего и толстого начальника» до сих пор еще не было, то они тотчас же успокаивались. Едва только Василий Терентьевич, схватившись руками за козлы, кряхтя и накренив всю коляску, ступил на подножку, как бабы быстро окружили его со всех сторон и повалились на колени. Испуганные шумом толпы, молодые, горячие лошади захрапели и стали метаться; кучер, натянув вожжи и совсем перевалившись назад, едва сдерживал их на месте. Сначала Квашнин ничего не мог разобрать: бабы кричали все сразу и протягивали к нему грудных младенцев. По

бронзовым лицам вдруг потекли обильные слезы… Квашнин увидел, что ему не вырваться из этого живого кольца, обступившего его со всех сторон. – Стой, бабы! Не галдеть! – крикнул он, покрывая сразу своим басом их голоса. – Орете все, как на базаре. Ничего не слышу. Говори кто-нибудь одна: в чем дело? Но каждой хотелось говорить одной. Крики еще больше усилились, и слезы еще обильнее потекли по лицам. – Кормилец… родной… рассмотри ты нас… Никак не можно терпеть… Отошшали!.. Помираем… с ребятами помираем… От холода, можно сказать, прямо дохнем! – Что же вам нужно? От чего вы помираете? – крикнул опять Квашнин. – Да не орите все разом! Вот ты, молодка, рассказывай, – ткнул он пальцем в рослую и, несмотря на бледность усталого лица, красивую калужскую бабу. – Остальные молчи! Большинство замолкло, только продолжало всхлипывать и слегка подвывать, утирая глаза и носы грязными подолами… Все-таки зараз говорило не менее двадцати баб. – Помираем от холоду, кормилец… Уж ты сделай милость, обдумай нас как-нибудь… Никакой нам возможности нету больше… Загнали нас на зиму в бараки, а в них нешто можно жить-то? Одна только слава, что бараки, а то как есть из лучины выстроены. И теперь-то по ночам невтерпеж от холоду… зуб на зуб не попадает… А зимой что будем делать? Ты хоть нашихробяток-то пожалей, пособи, голубчик, хоть печи-то прикажи поставить… Пишшу варить негде… На дворе пишшу варим… Мужики наши цельный день на работе… Иззябши… намокши… Придут домой – обсушиться негде. Квашнин попал в засаду. В какую сторону он ни оборачивался, везде ему путь преграждали валявшиеся на земле и стоявшие на коленях бабы. Когда он пробовал протиснуться между ними, они ловили его за ноги и за полы длинного серого пальто. Видя свое бессилие, Квашнин движением руки подозвал к себе Шелковникова, и, когда тот пробрался сквозь тесную толпу баб, Василий Терентьевич спросил его по-французски, с гневным выражением в голосе: – Вы слышали? Что все это значит? Шелковников беспомощно развел руками и забормотал: – Я писал в правление, докладывал… Очень ограниченное число рабочих рук… летнее время… косовица… высокие цены… правление не разрешило… ничего не поделаешь… – Когда же вы начнете перестраивать рабочие бараки? – строго спросил Квашнин. – Положительно неизвестно… Пусть потерпят как-нибудь… Нам раньше надо торопиться с помещениями для служащих. – Черт знает что за безобразия творятся под вашим руководством, – проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал громко: – Слушай, бабы! С завтрашнего дня вам будут строить печи и

покроют ваши бараки тесом. Слышали? – Слышали, родной… Спасибо тебе… Как не слышать, – раздались обрадованные голоса. – Так-то лучше небось, когда сам начальник приказал… спасибо тебе… ты уж нам, соколик, позволь и щепки собирать с постройки. – Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать. – А то поставили везде черкесов, чуть придешь за щепками, а он так сейчас нагайкой и норовит полоснуть. – Ладно, ладно… Приходите смело за щепками, никто вас не тронет, – успокаивал их Квашнин. – А теперь, бабье, марш по домам, щи варить! Да смотрите у меня, живо! – крикнул он подбодряющим, молодцеватым голосом. – Вы распорядитесь, – сказал он вполголоса Шелковникову, – чтобы завтра сложили около бараков воза два кирпича… Это их надолго утешит. Пусть любуются. Бабы расходились совсем осчастливленные. – Ты смотри, коли нам печей не поставят, так мы анжинеров позовем, чтобы нас греть приходили, – крикнула та самая калужская баба, которой Квашнин приказал говорить за всех. – А то как же, – отозвалась бойко другая, – пусть нас тогда сам генерал греет. Ишь какой толстой да гладкой… С ним теплей будет, чем на печке. Этот неожиданный эпизод, окончившийся так благополучно, сразу развеселил всех. Даже Квашнин, хмурившийся сначала на директора, рассмеялся после приглашения баб отогревать их и примирительно взял Шелковникова под локоть. – Видите ли, дорогой мой, – говорил он директору, тяжело подымаясь вместе с ним на ступеньки станции, – нужно уметь объясняться с этим народом. Вы можете обещать им все что угодно – алюминиевые жилища, восьмичасовой рабочий день и бифштексы на завтрак, – но делайте это очень уверенно. Клянусь вам: я в четверть часа потушу одними обещаниями самую бурную народную сцену… Вспоминая подробности только что потушенного бабьего бунта и громко смеясь, Квашнин сел в вагон. Через три минуты поезд вышел со станции. Кучерам было приказано ехать прямо на Бешеную балку, потому что назад предполагалось возвратиться на лошадях, с факелами. Поведение Нины смутило Андрея Ильича. Он ждал на станции ее приезда с нетерпеливым волнением, начавшимся еще вчера вечером. Прежние сомнения исчезли из его души; он верил в свое близкое счастье, и никогда еще мир не казался ему таким прекрасным, люди такими добрыми, а жизнь такой легкой и радостной. Думая о свидании с Ниной, он старался заранее его себе представить, невольно готовил нежные, страстные и красноречивые фразы и потом сам смеялся над собою… Для чего сочинять слова любви? Когда будет нужно, они придут сами и будут еще красивее, еще теплее. И Боброву вспоминались читанные им в каком-то журнале стихи, в

которых поэт говорит своей милой, что они не будут клясться друг другу, потому что клятвы оскорбили бы их доверчивую и горячую любовь. Бобров видел, как подъехали следом за тройкой Квашнина две коляски Зиненок. Нина сидела в первой. В легком платье палевого цвета, изящно отделанном у полукруглого выреза корсажа широкими бледными кружевами того же тона, в широкой белой итальянской шляпе, украшенной букетом чайных роз, она показалась ему бледнее и серьезнее, чем обыкновенно. Она издали заметила Боброва, стоявшего на крыльце, но не послала ему, как он ожидал, долгого, многозначительного взгляда. Наоборот, ему даже показалось, будто она нарочно отвернулась от него. Когда же Андрей Ильич подбежал к ее коляске, чтобы помочь ей из нее выйти, Нина, точно предупреждая его, быстро и легко выскочила из экипажа на другую сторону. Нехорошее, зловещее чувство кольнуло сердце Андрея Ильича, но он тотчас же поспешил себя успокоить. «Бедная, она стыдится своего решения и своей любви. Ей кажется, что теперь всякий может свободно читать в ее глазах самые сокровенные мысли… О, святая, прелестная наивность!» Андрей Ильич был уверен, что Нина, как и в прошлый раз на вокзале, сама найдет случай подойти к нему, чтобы с глазу на глаз перекинуться несколькими фразами. Однако она, по-видимому, вся поглощенная объяснением Квашнина с бабами, не торопилась этого сделать… Она ни разу, даже украдкой, не обернулась назад, чтобы увидеть Боброва. Сердце Андрея Ильича забилось вдруг тревожно и тоскливо. Он решил подойти к семейству Зиненок, державшемуся тесной кучкой, – остальные дамы их, видимо, избегали, – и под шум, привлекавший общее внимание, спросить Нину, если не словами, то хоть взглядом, о причине ее невнимания. Кланяясь Анне Афанасьевне и целуя ее руку, он заглядывал ей в лицо и старался прочесть в нем, знает ли она что-нибудь. Да, она несомненно знала: ее надломленные углом тонкие брови – признак лживого характера, как думал нередко Бобров, – недовольно сдвинулись, а губы приняли надменное выражение. Должно быть, Нина рассказала все матери и получила от нее выговор, – догадался Бобров и подошел к Нине. Но Нина даже не взглянула на него. Ее рука неподвижно и холодно лежала в его дрожащей руке, когда они здоровались. Вместо ответа на приветствие Андрея Ильича она тотчас же повернула голову к Бете и обменялась с нею какими-то пустыми замечаниями… В этом поспешном маневре Боброву почудилось что-то виноватое, что-то трусливое, отступающее пред прямым ответом… Он почувствовал, что у него сразу ослабели ноги, а во рту стало холодно… Он не знал, что подумать. Если бы Нина даже и

проболталась матери, разве не могла она одним из тех быстрых, говорящих взглядов, которыми всегда инстинктивно располагают женщины, сказать ему: «Да, ты угадал, наш разговор известен… но я все та же, милый, я все та же, не тревожься». Однако она предпочла отвернуться. «Все равно, я во что бы то ни стало на пикнике дождусь ее ответа, – подумал Бобров, в смутной тоске предчувствуя что-то тяжелое и грязное. – Так или иначе, она должна будет ответить».

На 303-й версте общество вышло из вагонов и длинной пестрой вереницей потянулось мимо сторожевой будки, по узкой дорожке, спускающейся в Бешеную балку… Еще издали на разгоряченные лица пахнуло свежестью и запахом осеннего леса… Дорожка, становясь все круче, исчезала в густых кустах орешника и дикой жимолости, которые сплелись над ней сплошным темным сводом. Под ногами уже шелестели желтые, сухие, скоробившиеся листья. Вдали сквозь густую сеть чащи алела вечерняя заря. Кусты окончились. Перед глазами гостей неожиданно открылась окруженная лесом широкая площадка, утрамбованная и усыпанная мелким песком. На одном ее конце стоял восьмигранный павильон, весь разукрашенный флагами и зеленью, на другом – крытая эстрада для музыкантов. Едва только первые пары показались из чащи, как военный оркестр грянул с эстрады веселый марш. Резвые, красивые медные звуки игриво понеслись по лесу, звонко отражаясь от деревьев и сливаясь где-то далеко в другой оркестр, который, казалось, то перегонял первый, то отставал от него. В восьмигранном павильоне вокруг столов, расставленных покоем и уже покрытых новыми белыми скатертями, суетилась прислуга, гремя посудой…Как только музыканты кончили марш, все приглашенные на пикник разразились дружными аплодисментами. Они были в самом деле изумлены, потому что не далее как две недели тому назад эта площадка представляла собою косогор, усеянный редкими кустами…Оркестр заиграл вальс. Бобров видел, как Свежевский, стоявший рядом с Ниной, тотчас же, без приглашения, обхватил ее талию, и они понеслись, быстро вертясь, по площадке. Едва Нину оставил Свежевский, как к ней подбежал горный студент, за ним еще кто-то. Бобров танцевал плохо, да и не любил танцевать. Однако ему пришло в голову пригласить Нину на кадриль. «Может быть, – думал он, – мне удастся улучить минуту для объяснения». Он подошел к ней, когда она, только что сделав два тура, сидела и торопливо обмахивала веером пылавшее лицо. – Надеюсь, Нина Григорьевна, что вы оставили для меня одну кадриль? – Ах, боже мой… Такая досада! У меня все кадрили разобраны, – ответила она, не глядя на него. – Неужели? Так

скоро? – спросил глухим голосом Бобров. – Ну да, – Нина нетерпеливо и насмешливо приподняла плечи. – Зачем же вы опоздали? Я еще в вагоне обещала все кадрили… – Вы, значит, совсем позабыли обо мне! – сказал он печально. Звук его голоса тронул Нину. Она нервно сложила и опять развернула веер, но не подняла глаз. – Вы сами виноваты. Почему вы не подошли?.. – Но ведь я только для того и приехал на пикник, чтобы вас видеть… Неужели вы шутили со мной, Нина Григорьевна? Она молчала, в замешательстве теребя веер. Ее выручил подлетевший к ней молодой инженер. Она быстро встала и, даже не обернувшись на Боброва, положила свою тонкую руку в длинной белой перчатке на плечо инженера. Андрей Ильич следил за нею глазами… Сделав тур, она села, – конечно, умышленно, подумал Андрей Ильич, – на другом конце площадки. Она почти боялась его или стыдилась перед ним. Прежняя, давно знакомая, тупая и равнодушная тоска овладела Бобровым. Все лица стали казаться ему пошлыми, жалкими, почти комичными. Размеренные звуки музыки непрерывными глухими ударами отзывались в его голове, причиняя раздражающую боль. Но он еще не потерял надежды и старался утешить себя разными предположениями: «Не сердится ли она за то, что я не прислал ей букета? Или, может быть, ей просто не хочется танцевать с таким мешком, как я? – догадался он. – Ну, что же, она, пожалуй, и права. Ведь для девушек эти пустяки так много значат… Разве не они составляют их радости и огорчения, всю поэзию их жизни?» Когда стало смеркаться, вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. Но этого оказалось мало: площадка оставалась почти не освещенною. Вдруг с обоих ее концов вспыхнули ослепительным голубоватым светом два электрические солнца, до сих пор тщательно замаскированные зеленью деревьев. Березы и грабы, окружавшие площадку, сразу выдвинулись вперед. Их неподвижные кудрявые ветви, ярко и фальшиво освещенные, стали похожи на театральную декорацию первого плана. За ними, окутанные в серо-зеленую мглу, слабо вырисовывались на совершенно черном небе круглые и зубчатые деревья чащи. Кузнечики в степи, не заглушаемые музыкой, кричали так странно, громко и дружно, что казалось, будто кричит только один кузнечик, но кричит отовсюду: и справа, и слева, и сверху. Бал длился, становясь все оживленнее и шумнее. Один танец следовал за другим. Оркестр почти не отдыхал… Женщины, как от вина, опьянели от музыки и от сказочной обстановки вечера. Аромат их духов и разгоряченных тел странно смешивался с запахом степной полыни, увядающего листа, лесной сырости и с отдаленным тонким запахом скошенной отавы. Повсюду – то

медленно, то быстро колыхались веера, точно крылья красивых разноцветных птиц, собирающихся лететь… Громкий говор, смех, шарканье ног о песок площадки сплетались в один монотонный и веселый гул, который вдруг с особенной силой вырывался вперед, когда музыка переставала играть. Бобров все время неотступно следил за Ниной. Раза два она чуть-чуть не задела его своим платьем. На него даже пахнуло ветром, когда она пронеслась мимо. Танцуя, она красиво и как будто беспомощно изгибала левую руку на плече своего кавалера и так склоняла голову, как будто бы хотела к этому плечу прислониться… Иногда мелькал край ее нижней белой кружевной юбки, развеваемой быстрым движением, и маленькая ножка в черном чулке с тонкой щиколоткой и крутым подъемом икры. Тогда Боброву становилось почему-то стыдно, и он чувствовал в душе злобу на всех, кто мог видеть Нину в эти моменты. Началась мазурка. Было уже около девяти часов. Нина, танцевавшая со Свежевским, воспользовалась тем временем, когда ее кавалер, дирижировавший мазуркой, устраивал какую-то сложную фигуру, и побежала в уборную, легко и быстро скользя ногами в такт музыке и придерживая обеими руками распустившиеся волосы. Бобров, видевший это с другого конца площадки, тотчас же поспешил за нею следом и стал у дверей… Здесь было почти темно; вся уборная – маленькая дощатая комнатка, пристроенная сзади павильона, – находилась в густой тени. Бобров решился дождаться Нины и во что бы то ни стало заставить ее объясниться. Сердце его часто и больно билось, пальцы, которые он судорожно стискивал, сделались влажными и холодными. Через пять минут Нина вышла. Бобров выдвинулся из тени и преградил ей дорогу. Нина слабо вскрикнула и отшатнулась. – Нина Григорьевна, за что вы меня так мучите? – сказал Андрей Ильич, незаметно для себя складывая руки умоляющим жестом. – Разве вы не видите, как мне больно. О! Вы забавляетесь моим горем… Вы смеетесь надо мной… – Я не понимаю, что вам нужно. Я и не думала смеяться над вами, – ответила Нина упрямо и заносчиво. В ней проснулся дух ее семейства. – Нет? – уныло спросил Бобров. – Что же значит ваше сегодняшнее обращение со мной? – Какое обращение? – Вы холодны со мной, почти враждебны. Вы отворачиваетесь от меня… Вам даже самое присутствие мое на вечере неприятно… – Мне решительно все равно… – Это еще хуже… Я чувствую в вас какую-то непостижимую для меня и ужасную перемену… Ну, будьте же откровенны, Нина, будьте такой правдивой, какой я вас еще сегодня считал… Как бы ни была страшна истина, скажите ее. Лучше уж для вас и для меня сразу кончить… – Что кончить? Я не

понимаю вас…Бобров сжал руками виски, в которые лихорадочно билась кровь. – Нет, вы понимаете. Не притворяйтесь. Нам есть что кончить. У нас были нежные слова, почти граничившие с признанием, у нас были прекрасные минуты, соткавшие между нами какие-то нежные, тонкие узы… Я знаю, – вы хотите сказать, что я заблуждаюсь… Может быть, может быть… Но разве не вы велели мне приехать на пикник, чтобы иметь возможность поговорить без посторонних? Нине вдруг стало жаль его. – Да… Я просила вас приехать… – произнесла она, низко опустив голову. – Я хотела вам сказать… Я хотела… что нам надо проститься навсегда. Бобров покачнулся, точно его толкнули в грудь. Даже в темноте было заметно, как его лицо побледнело. – Проститься… – проговорил он задыхаясь. – Нина Григорьевна!.. Слово прощальное – тяжелое, горькое слово… Не говорите его… – Я его должна сказать. – Должны? – Да, должна. Это не моя воля. – Чья же? Кто-то подходил к ним. Нина вгляделась в темноту и прошептала – Вот чья. Это была Анна Афанасьевна. Она подозрительно оглядела Боброва и Нину и взяла свою дочь за руку. – Зачем ты, Нина, убежала от танцев? – сказала она тоном выговора. – Стала где-то в темноте и болтаешь… Хорошее, нечего сказать, занятие… А я тебя ищи по всем закоулкам. Вы, сударь, – обратилась она вдруг бранчиво и громко к Боброву, – вы, сударь, если сами не умеете или не любите танцевать, то хоть барышням бы не мешали и не компрометировали бы их беседой tête-à-tête… в темных углах…Она отошла и увлекла за собою Нину. – О! Не беспокойтесь, сударыня: вашу барышню ничто не скомпрометирует! – закричал ей вдогонку Бобров и вдруг расхохотался таким странным, горьким смехом, что и мать и дочь невольно обернулись. – Ну! Не говорила я тебе, что это дурак и нахал? – дернула Анна Афанасьевна Нину за руку. – Ему хоть в глаза наплюй, а он хохочет… утешается… Сейчас будут дамы выбирать кавалеров, – прибавила она другим, более спокойным тоном. – Ступай и пригласи Квашнина. Он только что кончил играть. Видишь, стоит в дверях беседки. – Мама! Да куда же ему танцевать? Он и поворачивается-то насилу-насилу. – А я тебе говорю: ступай. Он когда-то считался одним из лучших танцоров в Москве… Во всяком случае, ему будет приятно. Точно в далеком, сером колыхающемся тумане видел Бобров, как Нина быстро перебежала всю площадку и, улыбающаяся, кокетливая, легкая, остановилась перед Квашниным, грациозно и просительно наклонив набок голову. Василий Терентьевич слушал ее, слегка над ней нагнувшись; вдруг он расхохотался, отчего вся его огромная фигура затряслась, и замотал отрицательно головою. Нина долго настаивала, потом вдруг сделала обиженное лицо и

капризно повернулась, чтобы отойти. Но Квашнин с вовсе не свойственной ему живостью догнал ее и, пожав плечами с таким видом, как будто бы хотел сказать: «Ну, уж ничего не поделаешь… надо баловать детей…» – протянул ей руку. Все танцующие остановились и с любопытством устремили глаза на новую пару. Зрелище Квашнина, танцующего мазурку, обещало быть чрезвычайно комичным. Василий Терентьевич выждал такт и вдруг, повернувшись к своей даме движением, исполненным тяжелой, но своеобразно величественной красоты, так самоуверенно и ловко сделал первое pas, что все сразу в нем почуяли бывшего отличного танцора. Глядя на Нину сверху вниз, с гордым, вызывающим и веселым поворотом головы, он сначала не танцевал, а шел под музыку эластичной, слегка покачивающейся походкой. И огромный рост и толщина, казалось, не только не мешали, но, наоборот, увеличивали в эту минуту тяжеловесную грацию его фигуры. Дойдя до поворота, он остановился на одну секунду, стукнул вдруг каблуком о каблук, быстро завертел Нину на месте и плавно, с улыбающимся снисходительно лицом, пронесся по самой середине площадки на толстых упругих ногах. Перед тем местом, откуда Квашнин взял Нину, он опять завертел свою даму в быстром, красивом движении и, неожиданно посадив на стул, сам остановился перед ней с низко опущенной головой. Его тотчас же окружили со всех сторон дамы, упрашивая пройтись еще один тур. Но он, утомленный непривычным движением, тяжело дышал и обмахивался платком. – Довольно, mesdames… пощадите старика… – говорил он, смеясь и насилу переводя дух. – Не в мои годы пускаться в пляс. Пойдемте лучше ужинать…Общество садилось за столы, гремя придвигаемыми стульями… Бобров продолжал стоять на том самом месте, где его покинула Нина. Чувства унижения, обиды и безнадежной, отчаянной тоски попеременно терзали его. Слез не было, но что-то жгучее щипало глаза, и в горле стоял сухой и колючий клубок… Музыка продолжала болезненно и однообразно отзываться в его голове. – Батюшка мой! А я-то вас ищу-ищу и никак не найду. Что это вы куда запропастились? – услышал Андрей Ильич рядом с собой веселый голос доктора. – Как только приехал, меня сейчас же за винт усадили, насилу вырвался… Идем ужинать. Я нарочно два места захватил, чтобы вместе… – Ах, доктор! Идите один. Я не пойду, не хочется, – через силу отозвался Бобров. – Не пойдете? Вот так история! – Доктор пристально поглядел в лицо Боброву. – Да что с вами, голубушка? Вы совсем раскисли, – заговорил он серьезно и с участием. – Ну, уж как хотите, а я вас не оставлю одного. Идем, идем, без всяких разговоров. – Тяжело мне, доктор.

Гадко мне, – ответил тихо Бобров, машинально, однако, следуя за увлекавшим его Гольдбергом. – Пустяки, пустяки, идем! Будьте мужчиной, плюньте… «Или есть недуг сердечный? Иль на совести гроза?» – неожиданно продекламировал Гольдберг, нежно и крепко обвивая рукой талию Боброва и ласково заглядывая ему в лицо. – Я вам сейчас пропишу универсальное средство: «Выпьем, что ли, Ваня, с холода да с горя?..» Мы, по правде сказать, с этим Андреа уже порядочно наконьячились… Ах, и пьет же, курицын сын! Точно в пустую бочку льет… Ну, будьте мужчиной, милочка… Знаете ли, Андреа вами очень интересуется. Идем, идем!..Говоря таким образом, доктор тащил Боброва в павильон. Они уселись рядом. Соседом Андрея Ильича с другой стороны оказался Андреа. Андреа, еще издали улыбавшийся Боброву, потеснился, чтобы дать ему место, и ласково погладил его по спине. – Очень рад, очень рад, садитесь к нам поближе, – сказал он дружелюбно. – Симпатичный человек… люблю таких… хороший человек… Коньяк пьете? Андреа был пьян. Его стеклянные глаза странно оживились и блестели на побледневшем лице (только полгода спустя стало известно, что этот безупречно сдержанный, трудолюбивый, талантливый человек каждый вечер напивался в совершенном одиночестве до потери сознания)…«А и в самом деле, может быть, станет легче, если выпить, – подумал Бобров, – надо попробовать, черт возьми!» Андреа дожидался с наклоненной бутылкой в руке. Бобров подставил стакан. – Та-ак? – протянул Андреа, высоко подымая брови. – Так, – ответил Бобров с печальной и кроткой улыбкой. – Ладно! До которых пор? – Стакан сам скажет. – Прекрасно. Можно подумать, что вы служили в шведском флоте. Довольно? – Лейте, лейте. – Друг мой, но вы, вероятно, выпустили из виду, что это Martel под маркой VSOP – настоящий, строгий, старый коньяк. – Лейте, не беспокойтесь…И Бобров подумал с злорадством: «Ну что ж, и буду пьян, как сапожник. Пусть полюбуется…» Стакан был полон. Андреа поставил бутылку на стол и стал с любопытством наблюдать за своим соседом. Бобров залпом выпил вино и весь содрогнулся от непривычки. – Дитя мое, у вас червяк? – спросил Андреа, серьезно поглядев в глаза Боброва. – Да, червяк, – уныло покачал головою Андрей Ильич. – В сердце? – Да. – Гм!.. Значит, вы хотите еще? – Лейте, – сказал Бобров покорно и печально. Он с жадностью и с отвращением пил коньяк, стараясь забыться. Но странно, – вино не оказывало на него никакого действия. Наоборот, ему становилось еще тоскливее, и слезы еще больше жгли глаза. Между тем лакеи разнесли шампанское, Квашнин встал со стула, держа двумя пальцами свой бокал и разглядывая через него огонь высокого

канделябра. Все затихли. Слышно было только, как шипел уголь в электрических фонарях и звонко стрекотал неугомонный кузнечик. Квашнин откашлялся. – Милостивые государыни и милостивые государи! – начал он и сделал внушительную паузу. – Я думаю, никто из вас не усомнится в том искреннем чувстве признательности, с которым я подымаю этот бокал! Я никогда не забуду сделанного мне в Иванкове радушного приема, и сегодняшний маленький пикник благодаря очаровательной любезности посетивших его дам останется для меня навсегда приятнейшим воспоминанием. Пью за ваше здоровье, mesdames! Он поднял кверху свой бокал, сделал им в воздухе широкий полукруг, отпил из него немного и продолжал – К вам, мои ближайшие сотрудники и товарищи, обращаю слово. Не осудите, если оно будет носить характер поучения: по летам я старик, сравнительно с большинством присутствующих, а на старика за поучение можно и не обижаться. Андреа нагнулся к уху Боброва и прошептал – Посмотрите, какие рожи делает этот каналья Свежевский. Свежевский действительно выражал своим лицом самое подобострастное и преувеличенное внимание. Когда Василий Терентьевич упомянул о своей старости, он и головой и руками начал делать протестующие жесты. – Я все-таки повторю старое, избитое выражение газетных передовых статей, – продолжал Квашнин. – Держите высоко наше знамя. Не забывайте, что мы соль земли, что нам принадлежит будущее… Не мы ли опутали весь земной шар сетью железных дорог? Не мы ли разверзаем недра земли и превращаем ее сокровища в пушки, мосты, паровозы, рельсы и колоссальные машины? Не мы ли, исполняя силой нашего гения почти невероятные предприятия, приводим в движение тысячемиллионные капиталы?.. Знайте, господа, что премудрая природа тратит свои творческие силы на создание целой нации только для того, чтобы из нее вылепить два или три десятка избранников. Имейте же смелость и силу быть этими избранниками, господа! Ура! – Ура! Ура! – закричали гости, и громче всех выделился голос Свежевского. Все встали со своих мест и пошли чокаться с Василием Терентьевичем. – Гнусная речь, – сказал доктор вполголоса. После Квашнина поднялся Шелковников и закричал – Господа! За здоровье нашего уважаемого патрона, нашего дорогого учителя и в настоящее время нашего амфитриона: за здоровье Василия Терентьевича Квашнина! Ура! – Ура-а! – подхватили единодушно все гости и опять пошли чокаться с Квашниным. Потом началась какая-то оргия красноречия. Произносили тосты и за успех предприятия, и за отсутствующих акционеров, и за дам, участвующих на пикнике, и за всех дам вообще. Некоторые тосты были двусмысленны и

игриво неприличны. Шампанское, истребляемое дюжинами, оказывало свое действие: сплошной гул стоял в павильоне, и произносившему тост приходилось каждый раз, прежде чем начать говорить, долго и тщетно стучать ножом по стакану. В стороне, на отдельном маленьком столике, красавец Миллер приготовлял в большой серебряной чаше жженку… Вдруг опять поднялся Квашнин, на лице его играла добродушно-лукавая улыбка. – Мне очень приятно, господа, что наш праздник как раз совпал с одним торжеством семейного характера, – сказал он с обворожительной любезностью. – Поздравимте от всей души и пожелаем счастья нареченным жениху и невесте: за здоровье Нины Григорьевны Зиненко и… – он замялся, потому что позабыл имя и отчество Свежевского… – и нашего товарища, господина Свежевского…Крики, встретившие слова Квашнина, были тем громче, что сообщаемая им новость оказалась совсем неожиданной. Андреа, услышавший рядом с собою восклицание, более похожее на мучительный стон, обернулся и увидел, что бледное лицо Боброва искривлено внутренним страданием. – Коллега, вы еще не все знаете, – шепнул Андреа. – Послушайте-ка, я сейчас скажу пару теплых слов. Он уверенно поднялся, уронив при этом свой стул и расплескав половину бокала, и воскликнул – Милостивые государи! Наш многоуважаемый хозяин из весьма понятной, великодушной скромности не докончил своего тоста… Мы должны поздравить нашего дорогого товарища, Станислава КсаверьевичаСвежевского, с новым назначением: с будущего месяца он займет ответственный пост управляющего делами правления общества… Это назначение будет, так сказать, свадебным подарком для молодых от глубокоуважаемого Василия Терентьевича… Я вижу на лице нашего высокочтимого патрона неудовольствие… Вероятно, я нечаянно выдал приготовленный им сюрприз и потому прошу прощения. Но, движимый чувством дружбы и уважения, я не могу не пожелать, чтобы наш дорогой товарищ, Станислав КсаверьевичСвежевский, и на новом своем поприще в Петербурге оставался таким же деятельным работником и таким же любимым товарищем, как и здесь… Но я знаю, господа, никто из нас не позавидует Станиславу Ксаверьевичу (он остановился и с едкой насмешкой посмотрел на Свежевского)… и потому что все мы так дружно желаем ему всего хорошего, что…Речь его была внезапно прервана громким лошадиным топотом. Из чащи точно вынырнул верхом на взмыленной лошади какой-то человек без шапки, с лицом, на котором застыло, перекосив его, выражение ужаса. Это был десятник, служивший у подрядчика Дехтерева. Бросив на средине площадки лошадь, дрожавшую от усталости, он подбежал

к Василию Терентьевичу и, фамильярно нагнувшись к его уху, стал что-то шептать… В павильоне сделалось вдруг страшно тихо, и, как раньше, слышно было только шипение угля и назойливый крик кузнечика. Красное от вина лицо Квашнина побледнело. Он нервно поставил на стол бокал, который держал в руке, и вино из бокала расплескалось по скатерти. – А бельгийцы? – спросил он отрывисто и хрипло. Десятник отрицательно замотал головой и опять зашептал что-то под самым ухом Квашнина. – А, черт! – воскликнул вдруг Квашнин, вставая с места и комкая в руках салфетку. – Надо же было… Подожди, ты сейчас же отвезешь на станцию телеграмму к губернатору. Господа, – громко и взволнованно обратился он к присутствующим, – на заводе – беспорядки… Надо принимать меры, и… и, кажется, нам лучше всего будет немедленно уехать отсюда… – Так я и знал, – презрительно, со спокойной злобой сказал Андреа. И в то время, когда все засуетились, он медленно достал новую сигару, нащупал в кармане спички и налил себе в стакан коньяку.

XI

Началась бестолковая, нелепая сумятица. Все поднялись с мест и забегали по павильону, толкаясь, крича и спотыкаясь об опрокинутые стулья. Дамы торопливо надевали дрожащими руками шляпки. Кто-то распорядился вдобавок погасить электрические фонари, и это еще больше усилило общее смятение… В темноте послышались истерические женские крики. Было около пяти часов. Солнце еще не всходило, но небо заметно посветлело, предвещая своим серым, однообразным тоном начало ненастного дня. Бледный, тусклый, однообразный полусвет занимающегося утра, так быстро и неожиданно сменивший яркое сияние электричества, придавал картине общего смятения страшный, удручающий, почти фантастический характер. Человеческие фигуры казались привидениями из какой-то фантастической бредовой сказки. Измятые бессонной ночью, взволнованные лица были страшны. Обеденный стол, залитый вином и беспорядочно загроможденный посудой, напоминал о каком-то чудовищном, внезапно прерванном пиршестве. Около экипажей суматоха была еще безобразнее: испуганные лошади храпели, взвивались на дыбы и не давались зануздывать; колеса сцеплялись с колесами, и слышался треск ломающихся осей; инженеры выкрикивали по именам своих кучеров, озлобленно ругавшихся между собою. В общем, получалось впечатление того оглушительного хаоса, который бывает только на больших ночных пожарах. Кого-то переехали или, может быть, раздавили. Был слышен вопль. Бобров никак не мог отыскать Митрофана. Раза два или три ему послышалось, будто его кучер отзывается на крик откуда-то из самой середины перепутавшихся экипажей. Но проникнуть туда не было никакой возможности, потому что давка становилась с каждой минутой все сильнее и сильнее. Вдруг в темноте вспыхнул высоко над толпой красным пламенем огромный керосиновый факел. Послышались крики: «С дороги! С дороги! Посторонитесь, господа! С дороги!» Стремительная человеческая волна, гонимая сильным напором, подхватила Андрея Ильича, понесла его за собой, чуть не сбросив с ног, и плотно прижала между задком одной пролетки и дышлом другой. Отсюда Бобров увидел, как между экипажами быстро образовалась широкая дорога и как по этой дороге проехал на своей тройке серых лошадей Квашнин. Факел, колебавшийся над коляской, обливал массивную фигуру Василия Терентьевича зловещим, точно кровавым, дрожащим светом. Вокруг его коляски выла от боли, страха и озлобления стиснутая со всех

сторон обезумевшая толпа… У Боброва что-то стукнуло в висках. На мгновение ему показалось, что это едет вовсе не Квашнин, а какое-то окровавленное, уродливое и грозное божество, вроде тех идолов восточных культов, под колесницы которых бросаются во время религиозных шествий опьяневшие от экстаза фанатики. И он задрожал от бессильного бешенства. Когда проехал Квашнин, сразу стало немного свободнее, и Бобров, обернувшись назад, увидел, что дышло, давившее ему спину, принадлежало его же собственной пролетке. Митрофан стоял около козел и зажигал факел. – Скорей на завод, Митрофан! – крикнул Андрей Ильич, садясь. – Чтоб через десять минут поспеть, слышишь! – Слушаю-с, – ответил мрачно Митрофан. Он обошел пролетку кругом, чтобы влезть на козлы, как подобает всякому хорошему кучеру, справа, разобрал вожжи и прибавил, полуобернувшись назад: – Только ежели лошадей зарежем, вы тогда, барин, не серчайте. – Ах, все равно… Осторожно, с громадным трудом выбравшись из этой массы сбившихся в кучу лошадей и экипажей и выехав на узкую лесную дорогу, Митрофан пустил вожжи. Застоявшиеся, возбужденные лошади подхватили, и началась сумасшедшая скачка. Пролетка подпрыгивала на длинных, протянувшихся поперек дороги корнях, раскатывалась на ухабах и сильно накренялась то налевый, то на правый бок, заставляя и кучера и седока балансировать. Красное пламя факела металось во все стороны с бурным ропотом. Вместе с ним метались вокруг пролетки длинные, причудливые тени деревьев… Казалось, что тесная толпа высоких, тонких и расплывчатых призраков неслась рядом с пролеткой в какой-то нелепой пляске. Призраки то перегоняли лошадей, вырастая до исполинских размеров, то вдруг падали на землю и, быстро уменьшаясь, исчезали за спиной Боброва, то забегали на несколько секунд в чащу и опять внезапно появлялись около самой пролетки, то сдвигались тесными рядами и покачивались и вздрагивали, точно перешептываясь о чем-то между собою… Несколько раз ветви частого кустарника, окаймлявшего дорогу, хлестали Митрофана и Боброва по лицам, будто чьи-то цепкие, тонкие, протянутые вперед руки. Лес кончился. Лошади зашлепали ногами по какой-то луже, в которой запрыгало и зарябилось багровое блестящее пламя факела, и вдруг дружным галопом вывезли на крутой пригорок. Впереди расстилалось черное, однообразное поле. – Да погоняй же, Митрофан, мы с тобой никогда не доедем! – крикнул Бобров нетерпеливо, хотя пролетка и без того неслась так, что дыхание захватывало. Митрофан проворчал что-то недовольным басом и ударил кнутом Фарватера, скакавшего, изогнувшись кольцом, на пристяжке. Кучер недоумевал, что сделалось с его

барином, всегда любившим и жалевшим своих лошадей. На горизонте огромное зарево отражалось неровным трепетанием в ползущих по небу тучах. Бобров глядел на вспыхивающее небо, и торжествующее, нехорошее злорадство шевелилось в нем. Дерзкий, жестокий тост Андреа сразу открыл ему глаза на все: и на холодную сдержанность Нины в продолжение нынешнего вечера, и на негодование ее мамаши во время мазурки, и на близость Свежевского к Василию Терентьевичу, и на все слухи и сплетни, ходившие по заводу об ухаживании самого Квашнина за Ниной… «Так и надо ему, так и надо, рыжему чудовищу, – шептал Бобров, ощущая такой прилив злобы и такое глубокое сознание своего унижения, что даже во рту у него пересохло. – О, если бы мне теперь встретиться с ним лицом к лицу, я бы надолго смутил самодовольный покой этого покупателя свежего мяса, этого грязного, жирного мешка, битком набитого золотом. Я бы оставил хорошую печать на его медном лбу!..» Чрезмерное количество выпитого сегодня вина не опьянило Андрея Ильича, но действие его выразилось в необычайном подъеме энергии, в нетерпеливой и болезненной жажде движения… Сильный озноб потрясал его тело, зубы так сильно стучали, что приходилось крепко стискивать челюсти, мысль работала быстро, ярко и беспорядочно, как в горячке. Андрей Ильич, незаметно для самого себя, то разговаривал вслух, то стонал, то громко и отрывисто смеялся, между тем как пальцы его сами собой крепко сжимались в кулаки. – Барин, да вы никак больны? Нам бы домой ехать, – сказал несмело Митрофан. Эти слова вдруг привели Боброва в неистовство, и он закричал хрипло: – Не разговаривай, дурак!.. Гони!.. Скоро с горы стал виден и весь завод, окутанный молочно-розовым дымом. Сзади, точно исполинский костер, горел лесной склад. На ярком фоне огня суетливо копошилось множество маленьких черных человеческих фигур. Еще издали было слышно, как трещало в пламени сухое дерево. Круглые башни кауперов и доменных печей то резко и отчетливо выдвигались из мрака, то опять совершенно тонули в нем. Красное зарево пожара ярким и грозным блеском отражалось в бурной воде большого четырехугольного пруда. Высокая плотина этого пруда вся сплошь, без просветов, была покрыта огромной черной толпой, которая медленно подвигалась вперед и, казалось, кипела. И необычайный – смутный и зловещий – гул, похожий на рев отдаленного моря, доносился от этой страшной, густой, сжатой на узком пространстве человеческой массы. – Куда тебя несет, дьявол! Не видишь разве, что едешь на людей, сволочь! – услыхал Бобров впереди грубый окрик, и на дороге, точно вынырнув из-под лошадей, показался рослый бородатый

мужик, без шапки, с головой, сплошь забинтованной белыми тряпками. – Погоняй, Митрофан! – крикнул Бобров. – Барин! Подожгли, – услышал он дрожащий голос Митрофана. Но тотчас же он услышал свист брошенного сзади камня и почувствовал острую боль удара немного выше правого виска. На руке, которую он поднес к ушибленному месту, оказалась теплая, липкая кровь. Пролетка опять понеслась с прежней быстротой. Зарево становилось все сильнее. Длинные тени от лошадей перебегали с одной стороны дороги на другую. Временами Боброву начинало казаться, что он мчится по какому-то крутому косогору и вот-вот вместе с экипажем и лошадьми полетит с отвесной кручи в глубокую пропасть. Он совершенно потерял способность опознаваться и никак не мог узнать места, по которому проезжал. Вдруг лошади стали. – Ну, чего же ты остановился, Митрофан? – раздражительно закричал Бобров. – А куда ж я поеду, коли впереди люди? – отозвался Митрофан с угрюмым озлоблением в голосе. Бобров, как ни всматривался в серый предутренний полумрак, ничего не видел, кроме какой-то черной неровной стены, над которою пламенело небо. – Каких ты там еще людей видишь, черт возьми! – выругался он, слезая с пролетки и обходя лошадей, покрытых белыми комьями пены. Но едва он отошел пять шагов от лошадей, как убедился, что то, что он принимал за черную стену, была большая, тесная толпа рабочих, запружавшая дорогу и медленно, в молчании подвигавшаяся вперед. Пройдя машинально вслед за рабочими шагов пятьдесят, Андрей Ильич повернул назад, чтобы найти Митрофана и объехать завод с другой стороны. Но ни Митрофана, ни лошадей на дороге не было. Митрофан ли поехал в другую сторону отыскивать барина, или сам Бобров заблудился – понять этого Андрей Ильич не мог. Он стал кричать кучера – никто ему не откликался. Тогда Бобров решил догнать только что оставленных рабочих и с этой целью опять повернулся и побежал, как ему казалось, в прежнюю сторону. Но, странно, рабочие точно провалились сквозь землю, и вместо них Бобров уперся с разбегу в невысокий деревянный забор. Забору этому не было конца ни вправо, ни влево. Бобров перелез через него и стал взбираться по какому-то длинному, крутому откосу, поросшему частым бурьяном. Холодный пот струился по его лицу, язык во рту сделался сух и неподвижен, как кусок дерева; в груди при каждом вздохе ощущалась острая боль; кровь сильными, частыми ударами била в темя; ушибленный висок нестерпимо ныл… Ему казалось, что подъем бесконечен, и тупое отчаяние овладевало его душой. Но он продолжал карабкаться наверх, ежеминутно падая, ссаживая колени и хватаясь руками за колючие кусты. Временами ему

представлялось, что он спит и видит один из своих лихорадочных болезненных снов. И панический переполох после пикника, и долгое блуждание по дороге, и бесконечное карабканье по насыпи – все было так же тяжело, нелепо, неожиданно и ужасно, как эти кошмары. Наконец откос кончился, и Бобров сразу узнал железнодорожную насыпь. С этого места фотограф снимал накануне, во время молебна, группу инженеров и рабочих. Совершенно обессиленный, он сел на шпалу, и в ту же минуту с ним произошло что-то странное: ноги его вдруг болезненно ослабли, в груди и в брюшной полости появилось тягучее, щемящее, отвратительное раздражение, лоб и щеки сразу похолодели. Потом все повернулось перед его глазами и вихрем понеслось мимо, куда-то в беспредельную глубину. Андрей Ильич очнулся от обморока по крайней мере через полчаса. Внизу, у подножия насыпи, там, где обыкновенно с несмолкаемым грохотом день и ночь работал исполинский завод, была необычная, жуткая тишина. Бобров с трудом поднялся на ноги и пошел по направлению к доменным печам. Голова его была так тяжела, что с трудом держалась на плечах, больной висок при каждом движении причинял невыносимую боль. Ощупывая рану, он опять почувствовал пальцами липкое и теплое прикосновение крови. Кровь была также у него во рту и на губах: он слышал ее соленый, металлический вкус. Сознание еще не вполне вернулось к нему, и усилие вспомнить и уяснить прошедшее причиняло ему сильную головную боль. Острая тоска и отчаянная, беспредметная злоба переполняли его душу… Утро заметно уже близилось. Все было серо, холодно и мокро: и земля, и небо, и тощая желтая трава, и бесформенные кучи камня, сваленного по сторонам дороги. Бобров бесцельно бродил между опустевших заводских зданий и, как это случается иногда при особенно сильных душевных потрясениях, говорил сам с собою вслух. Ему хотелось удержать, привести в порядок разбегавшиеся мысли. – Ну, скажи же, скажи, что мне делать? Скажи ради бога, – страстно шептал он, обращаясь к кому-то другому, *постороннему*, как будто сидевшему внутри его. – Ах, как мне тяжело! Ах, как мне больно!.. Невыносимо больно!.. Мне кажется, я убью себя… Я не выдержу этой муки… А другой, *посторонний*, возражал из глубины его души, также *вслух*, но насмешливо-грубо: – Нет, ты не убьешь себя. Зачем перед собой притворяться?.. Ты слишком любишь ощущение жизни, для того чтобы убить себя. Ты слишком немощен духом для этого. Ты слишком боишься физической боли. Ты слишком много размышляешь. – Что же мне делать? Что же мне делать? – шептал опять Андрей Ильич, ломая руки. – Она такая нежная, такая чистая – моя Нина! Она была у меня одна во

всем мире. И вдруг – о, какая гадость! – продать свою молодость, свое девственное тело!.. – Не ломайся, не ломайся; к чему эти пышные слова старых мелодрам, – иронически говорил *другой*. – Если ты так ненавидишь Квашнина, поди и убей его. – И убью! – закричал Бобров, останавливаясь и бешено подымая кверху кулаки. – И убью! Пусть он не заражает больше честных людей своим мерзким дыханием. И убью! Но *другой* заметил с ядовитой насмешкой: – И не убьешь… И отлично знаешь это. У тебя нет на это ни решимости, ни силы… Завтра же опять будешь благоразумен и слаб… Среди этого ужасного состояния внутреннего раздвоения наступали минутные проблески, когда Бобров с недоумением спрашивал себя: что с ним, и как он попал сюда, и что ему надо делать? А сделать что-то нужно было непременно, сделать что-то большое и важное, но что именно, – Бобров забыл и морщился от боли, стараясь вспомнить. В один из таких светлых промежутков он увидел себя стоящим над кочегарной ямой. Ему тотчас же с необычайной яркостью вспомнился недавний разговор с доктором на этом самом месте. Внизу никого из кочегаров не было: все они разбежались. Котлы давно успели охладеть. Только в двух крайних топках еще рдел еле-еле каменный уголь… Безумная мысль вдруг, как молния, мелькнула в мозгу Андрея Ильича. Он быстро нагнулся, свесил ноги вниз, потом повис на руках и спрыгнул в кочегарку. В куче угля была воткнута лопата. Бобров схватил ее и торопливыми движениями принялся совать уголь в оба топочные отверстия. Через две минуты белое бурное пламя уже гудело в топках, а в котле глухо забурлила вода. Бобров все бросал и бросал, лопату за лопатой, уголь; в то же время он лукаво улыбался, кивал кому-то невидимому головой и издавал отрывистые, бессмысленные восклицания. Болезненная, мстительная и страшная мысль, мелькнувшая еще там, на дороге, овладевала им все более. Он смотрел на огромное тело котла, начинавшего гудеть и освещаться огненными отблесками, и оно казалось ему все более живым и ненавистным. Никто не мешал. Вода быстро убавлялась в водомере. Клокотание котла и гудение топок становилось все грознее и громче. Но непривычная работа скоро утомила Боброва. Жилы в висках стали биться с горячечной быстротой и напряженностью, кровь из раны потекла по щеке теплой струей. Безумная вспышка энергии прошла, а внутренний, *посторонний*, голос заговорил громко и насмешливо: – Ну, что же, остается сделать одно еще движение! Но ты его не сделаешь… Basta… [1] Ведь все это смешно, и завтра ты не посмеешь даже признаться, что ночью хотел взрывать паровые котлы. Солнце уже показалось на горизонте в виде тусклого большого пятна, когда Андрей

Ильич пришел в заводскую больницу. Доктор, только что прервавший на минуту перевязку раненых и изувеченных людей, умывал руки под медным рукомойником. Фельдшер стоял рядом и держал полотенце. Увидев вошедшего Боброва, доктор попятился назад от изумления. – Что с вами, Андрей Ильич, на вас лица нет? – проговорил он с испугом. Действительно, вид у Боброва был ужасный. Кровь запеклась черными сгустками на его бледном лице, выпачканном во многих местах угольною пылью. Мокрая одежда висела клочьями на рукавах и на коленях; волосы падали беспорядочными прядями на лоб. – Да говорите же, Андрей Ильич, ради бога, что с вами случилось? – повторил Гольдберг, наскоро вытирая руки и подходя к Боброву. – Ах, это все пустяки… – простонал Бобров. – Ради бога, доктор, дайте морфия… Скорее морфия, или я сойду с ума!.. Я невыразимо страдаю!.. Гольдберг взял Андрея Ильича за руку, поспешно увел в другую комнату и, плотно притворив дверь, сказал: – Послушайте, я догадываюсь, что вас терзает… Поверьте, мне вас глубоко жаль, и я готов помочь вам… Но… голубушка моя, – в голосе доктора послышались слезы, – милый мой Андрей Ильич… не можете ли вы перетерпеть как-нибудь? Вы только вспомните, скольких нам трудов стоило побороть эту поганую привычку! Беда, если я вам теперь сделаю инъекцию… вы уже больше никогда… понимаете, никогда не отстанете. Бобров повалился на широкий клеенчатый диван лицом вниз и пробормотал сквозь стиснутые зубы, весь дрожа от озноба: – Все равно… мне все равно, доктор… Я не могу больше выносить. Доктор вздохнул, пожал плечами и вынул из аптечного шкафа футляр с правацовским шприцем. Через пять минут Бобров уже лежал на клеенчатом диване в глубоком сне. Сладкая улыбка играла на его бледном, исхудавшем за ночь лице. Доктор осторожно обмывал его голову.

Белый пудель

I

Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец сзади плелся старший член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине. Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из «Путешествия в Китай» – обе бывшие в моде лет тридцать – сорок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал голос; она совсем не играла, и поэтому, когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу открывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти: – Что поделаешь?.. Древний орган… простудный… Заиграешь – дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» – вальс. Опять-таки трубы эти… Носил я орган к мастеру – и чинить не берется. «Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей… вроде как какой-нибудь памятник…» Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, бог даст и еще покормит. Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы

тяжелой бродячей жизни, он стал, наконец, видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий, точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково: – Что, брат? Жалуешься?.. А ты терпи… Столько же, сколько шарманку, может быть даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душою и мелкими житейскими интересами.

II

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизиля и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног. Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним. – Ты что, Сережа? – спросил шарманщик. – Жара, дедушка Лодыжкин… нет никакого терпения! Искупаться бы… Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо. – На что бы лучше! – вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. – Только ведь после купанья еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует… значит, мол, расслабляет… Соль-то морская… – Врал, может быть? – с сомнением заметил Сергей. – Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий… домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то… а потом, значит, поспать трошки… и отличное дело… Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания. – Что, брат песик? Тепло? – спросил дедушка. Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула. – Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь… Сказано: в поте лица твоего, – продолжал наставительно Лодыжкин. – Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а все-таки… Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться… А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орган вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце – первая вещь. Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны

красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии с их твердыми и блестящими, точно лакированными, листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканные виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду – на клумбах, на изгородях, на стенах дач – яркие, великолепные душистые розы, – все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав. – Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-ко-сь, в фонтане-то – золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посредине. – Дедушка, а персики! Вона сколько! На одном дереве! – Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шутливо старик. – Погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места, – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум… Глаза раскосишь глядемши… Скажем, примерно – пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору. – Ей-богу? – радостно удивился Сергей. – Постой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон… Видал небось в лавочке? – Ну? – Просто так себе и растет в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша… И народ там, братец, совсем диковинный: турки, персюки, черкесы разные, всё в халатах и с кинжалами… Отчаянный народишка! А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел. – Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, – уверенно сказал Сергей. – Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазицы белые, а волосы курчавые, как на черном баране. – Страшные, поди… эфиопы-то эти? – Как тебе сказать? С непривычки оно точно… опасаешься немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее… Много там, братец мой, всякой всячины. Придем – сам увидишь. Одно только плохо – лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а притом же жарища. Тамошним-то жителям

ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одначе будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезька в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие… Ты меня спроси: уж я все знаю! Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа еще не приехамши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно: – Две да пять, итого семь копеек… Что ж, брат Сереженька, и это деньги. Семь раз по семи, – вот он и полтинник набежал, значит все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину по его слабости можно рюмочку пропустить, недугов многих ради… Эх, не понимают этого господа! Двугривенный дать ему жалко, а пятачок стыдно… ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хошь три копейки… Я ведь не обижаюсь, я ничего… зачем обижаться? Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты. Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дальше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком: – Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!.. Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его. – Н-да-а… Ловко! – произнес он, внезапно остановившись. – Могу сказать… А мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту по крайности

куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня… Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот! И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль. Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уже собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя, дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги. Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении. – Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул он мальчика. – Никак там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу, – и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей! – «„Дача Дружба“, посторонним вход строго воспрещается», – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота. – Дружба?.. – переспросил неграмотный дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай: уж я все знаю!

III

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящие зеркальные шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде. Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание. На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте, и наконец толстый лысый господин в чесунчовой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу. Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно: – Батюшка, барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с – встаньте… Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один сироп-с. Извольте подняться… Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро, подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица

кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам: – Ах, Трилли, ах, боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу станет легче: и животик пройдет и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь, доктор!.. – Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной, – загудел толстый господин в очках. – Ай-яй-яй-я-а-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами. Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись. Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок. – Дедушка Лодыжкин, что же это такое с ним? – спросил он шепотом. – Никак драть его будут? – Ну вот, драть… Такой сам всякого посекет. Просто – блажной мальчишка. Больной, должно быть. – Шамашедчий? – догадался Сергей. – А я почем знаю. Тише!.. – Ай-яй-а-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался все громче и громче мальчик. – Начинай, Сергей. Я знаю! – распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки. По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд. – Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли! – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. – Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент? Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел… Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику. – Эт-то что за безобразие! – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шепотом. – Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!.. Шарманка, уныло пискнув, замолкла. – Господин хороший, дозвольте вам объяснить… – начал было деликатно дедушка. –

Никаких! Марш! – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек. Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад. – Собирайся, Сергей, – сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. – Идем! Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики: – Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Д-а-й! Позвать! Мне! – Но, Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их! – застонала нервная дама. – Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!.. – Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! – закричало с балкона несколько голосов. Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам. – Пст!.. Музыканты! Слушайте-ка! Назад!.. Назад!.. – кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. – Старичок почтенный, – схватил он, наконец, за рукав дедушку, – заворачивай оглобли! Господа будут вашпантомин смотреть. Живо!.. – Н-ну, дела! – вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали. Суета на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины. Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом), сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя. Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы,

которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара – во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истощив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки. Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал, и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, нервным лаем. Почем знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает двадцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина. – Служить, Арто! Так, так, так… – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. – Перевернись. Так. Перевернись… Еще, еще… Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Что-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. А-а… то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой. Ну! Арто! – грозно возвысил голос Лодыжкин. «Гав!» – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза: «Гав, гав!» «Нет, не понимает меня мой старик!» – слышалось в этом недовольном лае. – Вот это – другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, – продолжал старик, протягивая невысоко над землею хлыст. – Алле! Нечего, брат, язык-то высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка еще, нохейнмаль… Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми моючилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе препожалуют что-нибудь повкуснее. Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний засаленный картуз,

который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались. – Что? Не говорил я тебе? – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. – Ты меня спроси: уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля. В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина. – Хочу-у-а-а! – закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у… – Ах, боже мой! Ах! Николай Аполлоныч!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять засуетились люди на балконе. – Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! – выходил из себя мальчик. – Но, ангел мой, не расстраивай себя! – залепетала над ним дама в голубом капоте. – Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку? – Вообще говоря, я не советовал бы, – развел тот руками, – но если надежная дезинфекция, например борной кислотой или слабым раствором карболки, то-о… вообще… – Соба-а-аку! – Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой и тогда… Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки? – Не хочу погладить, не хочу! – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть… Навсегда! – Послушайте, старик, подойдите сюда, – силилась перекричать его барыня. – Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, еще ближе… еще, вам говорят!.. Вот так… Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает все, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же, наконец, ребенка… Доктор, прошу вас… Сколько же ты хочешь старик? Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение. – Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство… Мы люди маленькие, нам всякое даяние – благо… Чай, сами старичка не обидите… – Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака *ваша,* а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать? – А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку, – взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой. – То

есть… простите, ваше сиятельство, – замялся Лодыжкин. – Я – человек старый, глупый… Сразу-то мне не понять… к тому же и глуховат малость… то есть как это вы изволите говорить?.. За собаку?.. – Ах, мой бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? – вскипела дама. – Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку… – Собаку! Собаку! – залился громче прежнего мальчик. Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз. – Собаками, барыня, не торгую-с, – сказал он холодно и с достоинством. – А этот пес, сударыня, можно сказать, нас двоих, – он показал большим пальцем через плечо на Сергея, – нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, что, например, продать. Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке. – Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, – настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. – Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне моймигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога! – Собирайся, Сергей, – угрюмо проворчал Лодыжкин. – Исту-ка-н… Арто, иди сюда!.. – Э-э, постой-ка, любезный, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. – Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу… Ты подумай, осел, сколько тебе дают! – Покорнейше вас благодарю, барин, а только… – Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи. – Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите… Счастливо оставаться… Сергей, иди вперед! – А паспорт у тебя есть? – вдруг грозно взревел доктор. – Я вас знаю, канальи! – Дворник! Семен! Гоните их! – закричала с искаженным от гнева лицом барыня. Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествуемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом: – Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодари еще бога, что по шее, старый хрен, не заработал. А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с

тобой не стану, намну загривок и стащу к господину вряднику. Шантрапа! Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин. – Что, дедушка Лодыжкин? Ты все знаешь? – поддразнил его лукаво Сергей. – Да-а, брат. Обмишулились мы с тобой, – покачал головой старый шарманщик. – Язвительный, однако, мальчугашка… Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописа-ал ижу. Подавай, говорит, собаку? Этак что же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну, и денек сегодня задался. Удивительно! – На что лучше! – продолжал ехидничать Сергей. – Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь. – А ты помалкивай, огарок, – добродушно огрызнулся старик. – Как от дворника-то улепетывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина – этот дворник. Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце паруса рыбачьих лодок. – Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, – сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. – Давай я тебе пособлю орган снять. Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены. Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея. «Ничего себе растет паренек, – думал Лодыжкин, – даром что костлявый – вон все ребра видать, а все-таки будет парень крепкий». – Эй, Сережка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит. – А я ее за хвост! – крикнул издали Сергей. Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое дряблое и бессильное, ноги – поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была

сгорблена от долголетнего таскания шарманки. – Дедушка Лодыжкин, гляди! – крикнул Сергей. Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно: – Ну, а ты не балуйся, поросенок. Смотри! Я т-тебя! Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? – волновался пудель. – Есть земля – и ходи по земле. Гораздо спокойнее». Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!» – Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! – позвал старик. – Сейчас, дедушка Лодыжкин, – отозвался мальчик. – Смотри, как я пароходом плыву. У-у-у-ух! Он, наконец, подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея. – Постой-ка, Сережа, никак это к нам? – сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору. По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи. – Что ему надо? – спросил с недоумением дедушка.

IV

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус. – О-го-го!.. Подождите трошки!.. – А чтоб тебя намочило да не высушило, – сердито проворчал Лодыжкин. – Это он опять насчет Артошки. – Давай, дедушка, накладем ему! – храбро предложил Сергей. – А ну тебя, отвяжись… И что это за люди, прости господи!.. – Вы вот что… – начал запыхавшийся дворник еще издали. – Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычом. Ревет, как теля. «Подай да подай собаку…» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило. – Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! – рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. – И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать. И пожалуйста… я тебя прошу… уйди ты от нас, Христа ради… и того… и не приставай. Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами: – Да пойми же ты, дурак человек… – От дурака и слышу, – спокойно отрезал дедушка. – Да постой… не к тому я это… Вот, право, репей какой… Ты подумай: ну, что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А? Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием: – Бреши дальше… Я потом сразу тебе отвечу. – А тут, брат ты мой, сразу – цифра! – горячился дворник. – Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды… Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть… Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом. – Кончил? – коротко спросил Лодыжкин. – Да тут долго и кончать нечего. Давай пса – и по рукам. – Та-ак-с, – насмешливо протянул дедушка. – Продать, значит, собачку? – Обыкновенно – продать. Чего вам еще? Главное, паныч у нас такой скаженный. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай – и все тут. Это еще без отца, а при отце… святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть слышали, господин Обольянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу понюживую – на тебе поню. Хочу лодку – на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в

чем, ни в чем отказу… – А луну? – То есть в каких это смыслах? – Говорю, луну он ни разу с неба не захотел? – Ну вот… тоже скажешь – луну! – сконфузился дворник. – Так как же, мил человек, лады у нас, что ли? Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина. – Я тебе одно скажу, парень, – начал он не без торжественности. – Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке колбасу даром не стравляй… сам лучше скушай… этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг… который сыздетства… То за сколько бы ты его примерно продал? – Приравнял тоже!.. – Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, – возвысил голос дедушка. – Так и скажи: не все, мол, продается, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе! Сергей, собирайся. – Дурак ты старый, – не вытерпел, наконец, дворник. – Дурак, да отроду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, – выругался Лодыжкин. – Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовию вашим низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдем. – Значит, та-ак!.. – многозначительно протянул дворник. – С тем и возьмите! – задорно ответил старик. Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей, увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.

V

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестевшей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения. – Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, – сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. – Ну-ка, Сережа, господи благослови! Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растет – ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе. – Во имя отца и сына. Очи всех на тя, господи, уповают, – шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. – Вкушай, Сережа! Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался. – Что, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? – спросил дедушка. – Дай-ка я в последний раз водицы попью. Ух, хорошо! – крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. – Если бы я был царем, все бы эту воду лил… с утра бы до ночи! Арто, иси, сюда! Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел… Ох-ох-

хонюшки-и! Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке. – Перво дело – куплю тебе костюм: розовое трико с золотом… туфли тоже розовые, атласные… В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо… все электричество горит… Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше… почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим – Антонио или, например, тоже хорошо – Энрико или Альфонзо… Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе, но, разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку: – Арто… куда? Я т-тебя, бродяга! Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях. Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом: – Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад! – Ты что, Сергей, вопишь? – недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затекшую руку. – Собаку мы проспали, вот что! – раздраженным голосом грубо ответил мальчик. – Пропала собачка. Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно: – Арто-о-о! – Глупости ты выдумываешь!.. Вернется, – сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом: – Арто, сюда, собачий сын! Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты, ровное, ярко-белое полотно дороги, но на нем – ни одной фигуры, ни одной тени. – Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно завыл старик. Но вдруг он остановился, нагнулся низко

к дороге и присел на корточки. – Да-а, вот оно какое дело-то! – произнес старик упавшим голосом. – Сергей! Сережа, поди-ка сюда. – Ну, что там еще? – грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. – Вчерашний день нашел? – Сережа…. что это такое?.. Вот это, что это такое? Ты понимаешь? – еле слышно спрашивал старик. Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны. На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап. – Свел ведь, подлец, собаку! – испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. – Никто, как он – дело ясное…. Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал. – Дело ясное, – мрачно и со злобой повторил Сергей. Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками. – Что же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что теперь? – спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая. – Что делать, что делать! – сердито передразнил его Сергей. – Вставай, дедушка Лодыжкин, пойдем!.. – Пойдем, – уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. – Ну что ж, пойдем, Сереженька! Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького: – Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видано всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придем и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет – к мировому, вот и весь сказ. – К мировому… да… конечно… Это верно, к мировому… – с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. – К мировому… да… Только вот что, Сереженька… не выходит это дело… чтобы к мировому… – Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? – нетерпеливо перебил мальчик. – А ты, Сережа, не того… не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. – Дедушка таинственно понизил голос. – Насчет пачпорта я опасаюсь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она какая история. А у меня, – дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, – у меня, Сережа, пачпорт-то чужой. – Как чужой? – То-то вот – чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения… Наконец вижу, нет никакой моей возможности, живу точно заяц – всякого опасаюсь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, а я тебя

навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту. – Ах, дедушка, дедушка! – глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. – Собаку мне уж больно жалко… Собака-то уж хороша очень… – Сереженька, родной мой! – протянул к нему старик дрожащие руки. – Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве бы я поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию – первое дело: «Подавай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыжкин?» – «Я, вашескродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин, Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин – один бог его ведает. Почем я знаю, может воришка какой или беглый каторжник? Или, может быть, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем… Ничего, Сережа… Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким, коричневым от загара, морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал подымать. – Пойдем, дедушка, – сказал он повелительно и ласково в то же время. – К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге. – Милый ты мой, родной, – приговаривал, трясясь всем телом, старик. – Собачка-то уж очень затейная… Артошенька-то наш… Другой такой не будет у нас… – Ладно, ладно… Вставай, – распоряжался Сергей. – Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка. В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но, пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое. Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай. Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина. – Гос-спо-да! – шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце. – Будет тебе, пойдем, – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за

рукав. – Сереженька, может убежит от них еще Артошка-то? – вдруг опять всхлипнул дедушка. – А? Как ты думаешь, милый? Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими, твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

VI

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки – каменотесы, землекопы – турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья. Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение. – Ты куда носьюходись, мальцук? – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим. – Пропусти. Надо! – сурово, деловым тоном ответил Сергей. – Да вставай, что ли, турецкая лопатка! Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью. Миновав белую с зеленым куполом, в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бессильно борется со сном и усталостью и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю, сплю!..» А над темными кустами и над

синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри – такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона. Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала, – лишь кое-где изредка вспыхивали ее блестки, – и вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег. Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот, наконец, и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина. Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал: – А все-таки я полезу! Все равно! Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составляющие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем кнаружи, и по мере того как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу. Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз. Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубахе,

подымется крик, суматоха… Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду: «Жжу… жжу… жжу…» «Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» – догадался Сергей. Он поднялся на ноги; все было страшно, таинственно, сказочно-красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла: «Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..» Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому. Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказания. – Только не в доме… в доме ее не может быть! – прошептал, как сквозь сон, мальчик. – В доме она выть станет, надоест… Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» – печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию. Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых маленьких четыреугольных отверстий без стекол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, сторожкий шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих. –

Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим шепотом. Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться. – Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. – вторил ей плачущим голосом мальчик. – Цыц, окаянная! – раздался снизу зверский, басовый крик. – У, каторжная! Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем. – Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! – закричал в исступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену. Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем. – Кто здесь бродит? Застрелю! – загрохотал, точно гром, его голос по саду. – Воры! Грабят! Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки. Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал все его маленькое тонкое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала. Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства. С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним. Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны – высокой стеной, с другой – тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький обезумевший от ужаса зверек,

попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную лазейку. Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная, вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо повизгивал, уткнув морду в колени Сергея. В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг, охваченный невероятною радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял. Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. Два гибких, ловких тела – собаки и мальчика – быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань. Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от круженья по саду, или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго еще бежали без отдыха, – оба сильные, ловкие, точно окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы. Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они, наконец, отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко

освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа. Вкофейной «Ылдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом: – И сто ти сесляесься, мальцук? Сто ти сесляесься? Вай-вай-вай, нехоросо… Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой покрытого пылью мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.

Гранатовый браслет

I

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, и казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах, вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега. Обитатели пригородного морского курорта – большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, – поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогалей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков. Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья. Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском

доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, ста́ившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

II

Кроме того, сегодня был день ее именин – 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее. Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шеин, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть, и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и т. д. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве. Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой – наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали – в третий раз за это лето – бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотою георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни. Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры – Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству. Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу. Сестры радостно

поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая – Анна, – наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, – лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры. Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей – мальчика и девочку; больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры – та жадно хотела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала хорошеньких малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами. Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие

балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница. Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.

III

– Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! – говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. – Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь – и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе – резедой. Вера ласково усмехнулась: – Ты фантазерка. – Нет, нет. Я помню также раз, надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкий – вот тот, что пишет мой портрет, – согласился, что я была права и что художники об этом давно знают. – Художник – твое новое увлечение? – Ты всегда придумаешь! – засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом. – У, как высоко! – произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. – Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди… и пальцы на ногах щемит… И все-таки тянет, тянет… Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее. – Анна, дорогая моя, ради бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь. – Ну хорошо, хорошо, села… Но ты только посмотри, какая красота, какая радость – просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна богу за все чудеса, которые он для нас сделал! Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и весело-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте. Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом – такими они казались маленькими, – неподвижно дремали в морской глади, недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра, белыми стройными парусами. – Я тебя понимаю, – задумчиво сказала старшая сестра, – но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей

плоской пустотой… Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает. Анна улыбнулась. – Чему ты? – спросила сестра. – Прошлым летом, – сказала Анна лукаво, – мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе: узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады – как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше – море! Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось – я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеид-оглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мине все это надоел. Каж-дый день видим». – Благодарю за сравнение, – засмеялась Вера, – нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая… прохлада. – Мне все равно, я все люблю, – ответила Анна. – А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете. Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке. И вдруг спохватилась. – Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе, сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли? Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты, – очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости. – Какая прекрасная вещь! Прелесть! – сказала Вера и поцеловала сестру. – Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище? – В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать – листочки, застежки, карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор,

матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя. Вера ласково погладила прекрасный переплет. – Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? – спросила она. – Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого… – Как странно, – сказала Вера с задумчивой улыбкой. – Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты… Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский carnet [1]. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается. Они прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «изабелла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели. – Ты велишь здесь накрывать? – спросила Анна. – Да, я сама так думала сначала… Но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить. – Будет кто-нибудь интересный? – Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка. – Ах, дедушка милый. Вот радость! – воскликнула Анна и всплеснула руками. – Я его, кажется, сто лет не видала. – Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать – и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе – ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов – заказал знакомому охотнику – и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной, – увы! – неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки. – Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть. – Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно. Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха. Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет. – Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, – сказал он с особенной поварской гордостью. – Мы давеча взвешивали. Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер,

длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами. Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку. – Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, – сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. – Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер, вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масле? – Делай, как знаешь. Ступай! – приказала княгиня.

IV

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе уменьем петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов. Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой – за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой – палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки. – Точно… архиерея! – сказал генерал ласковым хриповатым басом. – Дедушка, миленький, дорогой! – говорила Вера тоном легкого упрека. – Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали. – Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, – засмеялась Анна. – Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании… Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку. – Девочки… подождите… не бранитесь, – говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. – Честное слово… докторишки

разнесчастные… все лето купали мои ревматизмы… в каком-то грязном… киселе… ужасно пахнет… И не выпускали… Вы первые… к кому приехал… Ужасно рад… с вами увидеться… Как прыгаете?.. Ты, Верочка… совсем леди… очень стала похожа… на покойницу мать… Когда крестить позовешь? – Ой, боюсь, дедушка, что никогда… – Не отчаивайся… все впереди… Молись богу… А ты, Аня, вовсе не изменилась… Ты и в шестьдесят лет… будешь такая же стрекоза-егоза. Постойте-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров. – Я уже давно имел эту честь! – сказал полковник Понамарев, кланяясь. – Я был представлен княгине в Петербурге, – подхватил гусар. – Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там из коляски… Пойдемте, девочки… Чем, Верочка, будешь кормить? У меня… после лиманного режима… аппетит, как у выпускного… прапорщика. Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время – как и до сих пор – он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, – неторопливые, эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать. По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, – черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечному терпению и поразительной физической и нравственной выносливости. Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по

скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, – сказал он, – но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое. В войну 1877–1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то что был мало образован или, как он сам выражался, кончил только «медвежью академию». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре – легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, – это майор Аносов». С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных, во время балканского перехода, пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. – должность более почетную, чем нужную в целях государственной обороны. В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы. Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял до, черт возьми! Точно орех разгрыз». По

театру проносился сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением. По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный поступок, иногда начинал распекать, крича так, что его бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов. В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренно тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст. Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.

V

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городовой, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей, участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), а также будучи принципиальным противником стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?» – хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами на суде под присягой – сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты». Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющую отдельного паспорта, и водворения ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался

унынию и отчаянию. Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и неловко. Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось – тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя: «Вот это нехорошо! Как мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват – ничего не сказал по телефону». Когда у Шейных или у Фриессе собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои правила: всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки, – тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы во второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики, для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста – двухсот рублей. Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная. – Что такое, Даша? – с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спальней. – Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках? Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой. – Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, – залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. – Он пришел и сказал… – Кто такой – он? – Красная шапка, ваше сиятельство… посыльный. – И что же? – Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь все обозначено». И с теми словами убежал. – Подите догоните его. – Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет. – Ну хорошо, идите. Она разрезала

ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни. «Точно кровь!» – подумала с неожиданной тревогой Вера. Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфическим почерком:

«Ваше Сиятельство,

Глубокоуважаемая Княгиня

Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое подношение». «Ах, это – тот!» – с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо… «Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и – признаюсь – ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить Вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната – зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней

прикасались Ваши руки. Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга.

Г. С. Ж.».

«Показать Васе или не показать? И если показать – то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после – теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним». Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

VI

Полковника Понамарева едва удалось заставить сесть играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился. Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним. – Так нельзя! – сказала с комической обидчивостью Анна. – Хоть бы немного дали поволноваться. Трое из гостей – Спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, – были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издали, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа. Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает. В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась. – Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, – весело говорила Анна, щуря на офицера свои милые, задорные татарские глаза. – Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что покончили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут… И все пристают с жалобами, с какими-то обидами… И целый, целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал… – На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке? – вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами. – Благодарю… Но самое, самое мое больное место – это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей… – О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное? –

Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастие? Мы хотим приютить этих несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкать… – Гм!.. – …поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга… Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними – ни одного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли дитя, – так можете представить – они даже оскорбляются! И вот приют открыт, освящен, все готово – и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка. – Анна Николаевна, – серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар. – Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете. – Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, – расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами. Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами. Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например: «Историю любовных похождений храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николя Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее. – Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, – говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. – Часть первая – детство. «Ребенок рос, его назвали Лима». На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук. – Никогда меня никто не называл Лимой, – засмеялась Людмила Львовна. – Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога –
Явленье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги. А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот – критическое положение: разгневанный отец

догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там все пудрилась, час лишний провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня…
Как хочешь с ней разделывайся ты,
А я бегу в кусты.

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист». – Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, – объяснял серьезно Василий Львович. – Текст еще изготовляется. – Это что-то новое, – заметил Аносов, – я еще этого не видал. – Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка. Вера тихо дотронулась до его плеча. – Лучше не нужно, – сказала она. Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придал им настоящего значения. – Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби. Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, которая… бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии – она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу отвечать мне в почтамт, посте́ рестанте́» [1]. Здесь, вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами. Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам. Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоемусчастию, – говорит он, – но, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий огонь. А я, – увы! – я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней».

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство. Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов – наполненный его слезами… – Господа, кто хочет чаю? – спросила Вера Николаевна.

VII

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады. Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина Pommard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жмурился от блаженства. – Да-с… Осень, осень, осень, – говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивал головой. – Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько… – И пожили бы у нас, дедушка, – сказала Вера. – Нельзя, милая, нельзя. Служба… Отпуск кончился… А что говорить, хорошо бы было! Ты посмотри только, как розы-то пахнут… Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация… да и та конфетами. Вера вынула из вазочки две маленьких розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто. – Спасибо, Верочка. – Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой. – Пришли мы, помню я, в Букарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидал, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» – спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на двадцать червонцев. Солдаты, будучи

довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не подается, проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам нейдет». К счастию, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи. – Дедушка, скажите откровенно, – попросила Анна, – скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись? – Как это странно, Анночка: боялся – не боялся. Понятное дело – боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвастун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же, а уменье держать себя от практики все возрастает; отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти. – Расскажите, дедушка, – попросили в один голос сестры. Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому, древнему стереотипу. – Рассказ очень короткий, – отозвался Аносов: – Это было на Шипке, зимой, уже после того, как меня контузили в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился. – Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами, – сказала пианистка Женни Рейтер. – Вы, должно быть, смолоду очень красивы были. – О, наш дедушка и теперь красавец! – воскликнула Анна. – Красавцем не был, – спокойно улыбаясь, сказал Аносов. – Но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная бутылка с

прозрачною водой, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде! – это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив. Вошел я в дом и вижу прехорошенькуюболгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про канарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу – пламенно и бесповоротно. Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино. – Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? – спросила пианистка. – Гм… конечно, объяснились… Но только без слов. Это произошло так… – Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? – заметила Анна, лукаво смеясь. – Нет, нет, – роман был самый приличный. Видите ли: всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления, но в Букаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день. Однажды, во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал. С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда. – И все? – спросила разочарованно Людмила Львовна. – А чего же вам больше? – возразил комендант. – Нет, Яков Михайлович, вы меня извините – это не любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера. – Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю – любовь это была или иное чувство… – Да нет… скажите… неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая… ну, которая… словом… святой, чистой, вечной любовью… неземной… Неужели не любили? – Право, не сумею вам ответить, – замялся старик, поднимаясь с кресла. – Должно быть, не любил. Сначала все было некогда: молодость, кутежи, карты, война… Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся – и вижу, что

я уже развалина… Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь… Гусар, – обратился он к Бахтинскому, – ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу. – И я пойду с вами, дедушка, – сказала Вера. – И я, – подхватила Анна. Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо: – Поди посмотри… там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.

VIII

Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на двадцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава. – Смешная эта Людмила Львовна, – вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. – Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел! – Ну как же это так, дедушка? – мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. – Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили? – Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит – грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мяконькие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа-мама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачьими, преданными глазами. А когда уходишь – за дверями этакие быстрые поцелуйчики… За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет… Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо…» А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет… «Милый! Я давно догадывался… Ну, дай вам бог… Смотри только береги это сокровище…» И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесаные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, томно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые… Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен… Слава богу, что

детей не было… – Вы простили им, дедушка? – Простил – это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь… Нет! Все к лучшему, Верочка. – Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида… А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым? Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно: – Ну, хорошо… скажем – исключение… Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, самостоятельной… К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей, и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, – я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете… нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. – Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? – тихо спросила Вера. – Нет, – ответил старик решительно. – Я, правда, знаю два случаях похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой… так… какая-то кислота… одна жалость… Если хочешь, я расскажу. Это недолго. – Прошу вас, дедушка. – Ну, вот. В одном полку нашей

дивизии (только не в нашем) была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая… Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, этакая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок – морфинистка. И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим – все равно в будущем считай его погибшим. Это – штамп на всю жизнь. К рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем – «смерть уже лежала на его высоком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами. И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Я и ее и его знал лично, но при этом происшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему. Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы всё говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу – вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом – и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами: так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало. – Ох, какой ужас! – воскликнула Вера. – Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в городе ему было неудобно: живой укор перед глазами и ей, и всему полку. И пропал человек… самым подлым образом… Стал попрошайкой… замерз где-то на пристани в Петербурге. А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж – ничего. Все

знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте… Не мое дело, не мое дело… Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух! Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке – точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, – нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится – уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу». Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка? размазня? стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под Зелеными Горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный – он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него богу молились. Но *она* велела… Его Леночка ему велела! И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем безмедовым, – как нянька, как мать. На ночлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью. Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штос. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа… – Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих? – О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается – и она *уже* мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни – всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества – поэты, романисты, музыканты, художники? Я на днях читал историю

Машеньки Леско и кавалера де Грие… Веришь ли, слезами обливался… Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви – единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной? – О, конечно, конечно, дедушка… – А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать… я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия. Немного помолчав, он вдруг спросил: – Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по его обычаю? – Разве вам интересно, дедушка? – Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно… – Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу. И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее замужества. Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался Г. С. Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, – о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно (кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка: на пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя… – Да-а, – протянул генерал наконец. – Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а – почем знать? – может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся фонари? Наверно, мой экипаж. В то же время сзади послышалось зычное рявканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами,

засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович. – Анночка, я захватил твои вещи. Садись, – сказал он. – Ваше превосходительство, не позволите ли довезти вас? – Нет уж, спасибо, мой милый, – ответил генерал. – Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать, – говорил он, целуя у Веры лоб и руки. Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.

IX

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стопа и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну. – Я давно настаивал! – говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. – Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное… Вот, кстати, и сама Вера… Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем ПеПе Же. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой. – Переписки вовсе не было, – холодно остановил его Шеин. – Писал лишь он один… Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании. – Я извиняюсь за выражение, – сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжелый предмет. – А я не понимаю, почему ты называешь его моим, – вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. – Он так же мой, как и твой… – Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки… Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, – так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович. – Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, – возразил Шеин. – Может быть, может быть… Но вы легко рискуете попасть в смешное положение. – Не вижу, каким способом, – сказал князь. Вообрази себе, что этот идиотский браслет… – Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место, – что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ПеПе Же может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное колье, а там – глядишь – сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шеины будут вызваны в качестве свидетелей… Милое положение! – Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! – воскликнул Василий Львович. –

Я тоже так думаю, – согласилась Вера, – и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса. – О, это-то совсем пустое дело! – возразил пренебрежительно Николай Николаевич. – Нам известны инициалы этого ПеПе Же… Как его, Вера? – Ге Эс Же. – Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании. – Что ты думаешь сделать? – спросил князь Василий. – Что? Поеду к губернатору и попрошу… – Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения… Тут прямая опасность попасть в смешное положение. – Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю-ю-ю!» – Фи! Через жандармов! – поморщилась Вера. – И правда, Вера, – подхватил князь. – Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни… Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках… Лучше уж я сам пойду к этому… юноше… хотя, бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию. – Тогда и я с тобой, – быстро прервал его Николай Николаевич. – Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить… А теперь, друзья мои, – он вынул карманные часы и поглядел на них, – вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела. – Мне почему-то стало жалко этого несчастного, – нерешительно сказала Вера. – Жалеть его нечего! – резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. – Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону.

X

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился. – Подожди немножко, – сказал он шурину. – Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать… Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры. На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни, туловищем. – Господин Желтков дома? – спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее. – Дома, прошу, – сказала она, открывая дверь. – Первая дверь налево. Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал. – Войдите, – отозвался слабый голос. Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром, посередине – стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами. – Если не ошибаюсь, господин Желт-ков? – спросил высокомерно Николай Николаевич. – Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться. Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шеину. – Я тебе говорил, что мы не ошиблись. Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь: – Прошу покорно. Садитесь. Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти. – Благодарю вас, – сказал просто князь Шеин, разглядывавший его очень внимательно. – Merci, – коротко

ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. – Мы к вам всего только на несколько минут. Это – князь Василий Львович Шеин, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия – Мирза-Булат-Тугановский. Я – товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры. Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо. – Я к вашим услугам, ваше сиятельство, – произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами. Но Шеин промолчал. Заговорил Николай Николаевич. – Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, – сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. – Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись. – Простите… Я сам знаю, что очень виноват, – прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея. – Может быть, позволите стаканчик чаю? – Видите ли, господин Желтков, – продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. – Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет? – Да, – ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно. – И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя – согласитесь – это не только можно было бы, а даже и *нужно* было сделать. Не правда ли? – Да. – Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? – кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было – обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что – повторяю – я сразу угадал в вас благородного человека. – Простите. Как вы сказали? – спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. – Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали? Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил. – Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? – обратился он к Шеину. – Ну-с, дальше? Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не

отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека. – Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, – с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. – Врываться в чужое семейство… – Виноват, я вас перебью… – Нет, виноват, теперь уж я вас перебью… – почти закричал прокурор. – Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича. И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: – Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей… Вы меня выслушаете? – Слушаю, – сказал Шеин. – Ах, Коля, да помолчи ты, – сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. – Говорите. Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого. – Трудно выговорить такую… фразу… что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета была еще большей глупостью. Но… вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда… Скажите, князь… предположим, что вам это неприятно… скажите, – что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно – смерть… Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме. – Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, – сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. – Вопрос очень короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее. Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил: – Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам. – Идите, – сказал Шеин. Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина. Так нельзя, –

кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. – Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах. – Подожди, – сказал князь Василий Львович, – сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, – чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. – Подумав, князь сказал: – Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь паясничать. – Это декадентство, – сказал Николай Николаевич. Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шеин. – Я готов, – сказал он, – и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие – это я *вам* говорю, князь Василий Львович, – видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне? – Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем, – закричал Николай Николаевич. – Хорошо, пишите, – сказал Шеин. – Вот и все, – произнес, надменно улыбаясь, Желтков. – Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог? Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это. Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене: – Оставь меня, – я знаю, что этот человек убьет себя.

XI

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано: «Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г. С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр». Вера думала про себя: «Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это было: любовь или сумасшествие?» Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному ПеПе Же. «Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», – вспомнились ей слова Аносова. В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которою богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: *„Да святится имя Твое“*. Восемь лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы

воплотилась вся красота земли… Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас… сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет, – ну, что же? – ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей. Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, – о, как я ее целовал, – ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе… Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то… я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, – так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur № 2, op. 2. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж.».

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала: – Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно. Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал: – Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе. – Он умер? – спросила Вера. – Да, умер, я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и я даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать… – Вот что, Васенька, – перебила его Вера Николаевна, – тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него? – Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай

испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.

XII

Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила: – Кого вам угодно? – Господина Желткова, – сказала княгиня. Должно быть, ее костюм – шляпа, перчатки – и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась. – Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там… сейчас… Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот – семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был зачудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном. Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него. – Я друг вашего покойного квартиранта, – сказала она, подбирая каждое слово к слову. – Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил. – Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья – прислуга – приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый. – Расскажите мне что-нибудь о браслете, – приказала Вера Николаевна. – Ах, ах, ах, браслет – я и забыла. Почему вы знаете? Он, перед тем как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай – так он и сказал: милый обычай – вешать на изображение матки боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать. – Вы мне его покажете? – спросила Вера. – Про́шу, про́шу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христиански. Про́шу, про́шу. Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковых свечи. Наискось комнаты лежал

на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона. – Если прикажете, пани, я уйду? – спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное. – Да, я потом вас позову, – сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви – почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем. Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном: – Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение…» – он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите… – Покажите, – сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала. – Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться. И она прочла слова, написанные знакомым почерком: «L. vanBeethoven. Son. № 2, op. 2. LargoAppassionato».

XIII

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала: – Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, – и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из Второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков. Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: *«Да святится имя Твое».* «Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою – одна молитва: *„Да святится имя Твое“*. Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. *„Да святится имя Твое“*. Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, так угодно было богу и судьбе. *„Да святится имя Твое“*. В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: *„Да святится имя Твое“*. Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою – слава Тебе. Вот она идет, все усмиряющая смерть, а я говорю – слава Тебе!..» Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака… И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала: «Успокойся, дорогая, успокойся,

успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко». Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах. – Что с тобой? – спросила пианистка. Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила: – Нет, нет, – он меня простил теперь. Все хорошо.